

**БРАК ПО РАСЧЕТУ
ЗЛАТОКУДРАЯ ЭЛЬЗА**

Евгения Марлитт

СЕРИЯ
СЕМЕИНОГО
ДОСУГА

Евгения Марлитт

**Брак по расчету.
Златокудрая Эльза (сборник)**

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

1866, 1873

Марлитт Е.

Брак по расчету. Златокудрая Эльза (сборник) / Е. Марлитт —
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 1866, 1873

ISBN 978-966-14-5419-3

Бедная как церковная мышь дворянка и молодой барон Майнау, чье богатство может соперничать лишь с его красотой... Что между ними может быть — брак по расчету, брак из мести бывшей возлюбленной или брак, заключенный на небесах? («Брак по расчету») Сегодня она дает уроки музыки в поместье и боится признаться даже себе, что сгорает от любви к его хозяину. Но развалинам старого замка недолго осталось хранить тайну, которая заставит не одного мужчину обратить на златокудрую Эльзу свой взор... («Златокудрая Эльза»)

ISBN 978-966-14-5419-3

© Марлитт Е., 1866, 1873
© Книжный Клуб «Клуб Семейного
Досуга», 1866, 1873

Содержание

Брак по расчету	6
Глава 1	6
Глава 2	9
Глава 3	13
Глава 4	20
Глава 5	26
Глава 6	31
Глава 7	36
Глава 8	42
Глава 9	47
Глава 10	52
Глава 11	60
Глава 12	69
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Евгения Марлитт

Брак по расчету.

Златокудрая Эльза (сборник)

© Jon Paul, обложка, 2013

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2013

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление,
2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Брак по расчету

Глава 1

Над прудом, высоко в синем весеннем небе, виднелось неподвижное черное пятно. В серебристой воде играло множество рыб; все было здесь так уединенно и безмолвно, что даже старые гигантские деревья, окаймлявшие зеркальные воды, не могли защитить их обитателей от крылатого хищника, стремительно падавшего с поднебесья за добычей и нарушавшего веселую жизнь водяного царства. Сегодня, однако, он не решался спуститься, так как, против обыкновения, здесь было много людей, и взрослых и детей, и последние кричали, шумели и бросали в него своими пестрыми мячиками; распряженные для отдыха лошади громко ржали и копытами взрывали прибрежную землю, а сквозь кроны деревьев неслись к небу легкие облачка дыма. Людской шум и дым не нравились хищнику, и он, мрачный, стал подниматься все выше и выше, подальше от детских голосов, пока совсем не скрылся, и тяжеловесное тело его будто рассыпалось и рассеялось в голубом эфире.

На левом берегу пруда ютилась рыбацья деревенька – домиков в восемь. Они стояли поодаль один от другого, под сенью столетних лип, ветви которых спускались так низко, что соломенные крыши чуть ли не касались нижних ветвей; с южной стороны домиков росли кусты шиповника и боярышника, вдоль стен были развешаны сети и сачки, а перед входными дверями стояли деревянные скамейки – все это резко выделялось на светлом фоне прибрежья.

Но напрасно ваш взгляд стал бы искать крепкие фигуры рыбаков: их тут не было. Хорошо было и то, что громадный парк со своими вековыми деревьями совершенно скрывал лежавшую за ним столицу; создавалось впечатление, что находишься в патриархальном центре сельской жизни, пока не отворялась дверь одного из домиков.

Если бы германский герцог мог предвидеть, что за безвинный Малый Трианон блестящая французская королева поплатится впоследствии головой, то рыбацья деревенька, наверно, никогда не была бы построена. Но он не обладал даром предвидения, потому это прелестное подражание вот уже более ста лет стояло на берегу пруда, представляя собой снаружи первобытную идиллию, внутри же вполне удовлетворяя всем прихотям избалованного роскошью человека. Если бы вы вошли в один из домиков, ваша нога утонула бы в богатейших пушистых коврах; мебель и стены были обиты тяжелыми шелковыми материями, простенки скрывались под зеркалами, хотя по наружности домики и кокетничали бедностью и простотой. Но нельзя же было, в самом деле, обедать за белым деревянным столом, а тем более отдыхать после упительных игр на жесткой деревянной скамейке!

Герцогский дом, одному из владельцев которого рыбацья деревня была обязана своим существованием, строго придерживался старинного обычая, по которому каждый наследник престола должен был посадить липу на восьмом году своей жизни. Таким образом луг, раскинувшийся на левом берегу пруда и прозванный Майенфестом, сделался историческою знаменитостью, чем-то вроде генеалогической таблицы. Случалось, что посаженная герцогской рукой липа не принималась, но были в Майенфесте и поистине редкие экземпляры. Вековые исполины, стволы которых были покрыты серо-зеленоватым мохом, точно панцирем, простирали длинные ветви над своими потомками и над слабыми деревцами, которые – увы! – и здесь встречались, несмотря на то что были посажены рукой герцогского сына.

Именно сейчас, в мае, наступила очередь наследного принца Фридриха. Само собой разумеется, двор и лояльная столица праздновали этот день по предписанному издавна обычаю. Были приглашены все дети лиц, принимавшихся во дворе; менее счастливые, не имевшие ни баронской, ни дворянской короны, тоже приехали со своими родителями, чтобы хоть издали

видеть, как наследный принц будет управляться с заступом. За Вагенбургом тянулось по дорогам и тропинкам множество народа, а молодые парни влезали на деревья, служившие, бесспорно, самыми лучшими наблюдательными пунктами.

Торжество было двойное. Полтора года тому назад умер владетельный герцог, отец наследного принца, и только сегодня вдова его, красавица герцогиня, сняла траурный наряд, который носила так долго.

Она стояла тут же, возле только что посаженной липки. При взгляде на нее нельзя было ни минуты усомниться в том, что она здесь царица всего собрания. Она была вся в белом, только у пояса приколот бледно-розовый цветок шиповника, да от пунцовой подкладки маленького зонтика, который она держала над непокрытой головой, падала розоватая тень на ее лицо, на прямой, остренький, очень маленький носик и полные, хотя и бледные губы. Неправильные черты лица, густые, как грива, с синеватым отливом волосы, легкая синева под глазами и тот восковой, безжизненный цвет лица, который так часто служит признаком страстной натуры, придавали ее лицу красоту испанской креолки, хотя, разумеется, в жилах немецкой герцогини не было ни капли этой крови.

Она следила за полетом хищника так же внимательно, как и толпа детей, сопровождавшая восторженными криками его исчезновение.

– Ты опять не кричал с нами, Габриель, – сердито заметил маленький мальчик стоявшему около него другому, постарше, белое полотняное платье которого резко отличалось от изящных костюмов прочих детей.

Мальчик не ответил, а растерянно и смущенно опустил глаза, и это страшно рассердило младшего.

– Разве тебе не стыдно перед другими мальчиками, негодный мальчишка?.. Кричи сейчас же ура! И мы тоже закричим, – приказывал и в то же время подбадривал он.

Мальчик в белом платье в испуге отвернулся. Он хотел было уйти, как вдруг маленький мальчик с быстротой молнии поднял свой хлыст и ударил им несчастного по лицу.

Остальные дети мигом разбежались, и дрожащий от гнева мальчик на несколько минут остался один. Это был идеально красивый ребенок, в изящном зеленом бархатном костюме, с чудными каштановыми локонами, преисполненный силы и величия; наследный принц, брат его и вся их детская свита не могли бы с ним сравниться.

Бедная и испуганная наставница его поспешила к нему, но герцогиня остановила ее и взяла его за руку, крепко сжатую в кулак.

– Это нехорошо, Лео, – сказала она, но в голосе слышалось более нежности, чем гнева.

Мальчик резко высвободил свою руку из мягкой, бархатной руки герцогини и, бросив искоса взгляд на удалявшегося побитого им товарища, развернулся на каблучке.

– Что ж такого! – проворчал он. – И поделом ему! Папа его тоже терпеть не может и говорит: «Этот трус боится даже своего собственного голоса».

– Положим, что так, маленький упрямец; тогда для чего же ты настаиваешь, чтобы этот Габриель сопровождал тебя всюду? – спросила, улыбаясь, герцогиня.

– Потому... ну, потому что я так хочу!

С этими словами Лео гордо поднял свою кудрявую головку и, повернувшись спиной ко всему обществу, как будто оно для него и не существовало, скрылся за одним из домиков. Он пошел в обход к той старой липе, за которой спрятался обиженный им мальчик.

Бедняжка одиноко стоял, прислонившись к дереву. То был мальчик лет тринадцати, с выразительным, печальным лицом, скорее не худой, а стройный, с изящной фигуркой. Он намочил в пруду платок и приложил его к левой щеке, между тем как губы его нервно подрагивали, не так от боли, какую причинил ему удар хлыстом, как от внутреннего волнения.

Маленький Лео обошел вокруг него несколько раз, порывисто щелкая в воздухе хлыстом.

– Тебе очень больно? – спросил он вдруг коротко и резко, мрачно сдвинув брови и топнув ногой.

Габриель отнял от лица платок, чтобы снова смочить его водой, открыв шедший поперек щеки красный рубец.

– О нет! – отвечал Габриель кротким, в высшей степени благозвучным голосом. – Только жжет немного.

В одно мгновение хлыст очутился на земле, и с раздирающим душу криком Лео бросился Габриелю на шею.

– Я слишком дурной мальчик! – воскликнул он. – Вон там лежит мой хлыст, Габриель, возьми его и прибей меня также!

Прочие дети смотрели, разинув рот, на этот неожиданный порыв горького раскаяния. Герцогиня тоже была недалеко; должно быть, странное ощущение овладело ею, потому что она стремительно бросилась к ребенку, прижала его к сердцу и стала осыпать поцелуями его красивое лицо.

– Рауль! – едва слышно прошептала она.

– Ах, глупости! – проворчал мальчик, с силой высвобождаясь из ее объятий. – Раулем зовут моего отца!

На бледных щеках герцогини вспыхнул яркий румянец, она выпрямилась и с минуту оставалась неподвижной, потом медленно повернула голову и робко и нерешительно огляделась; дамы, только что стоявшие неподалеку, теперь исчезли за дверью ближайшего домика.

Глава 2

По дороге из столицы катился придворный экипаж; в глубине его сидел господин, а рядом с ним на голубых шелковых подушках лежали принадлежности для игры в крокет. Карета только свернула на главную дорогу, пролежавшую вдоль пруда, как из чащи показался пешеход. Находившийся в карете господин тотчас же велел кучеру остановиться.

– Здравствуй, Майнау! – воскликнул он. – Не сердись на меня, если я замечу, что тебя ждут с замиранием сердца, а ты бродишь бог знает где!.. Липа уже давно стоит, и ты лишил дом Майнау возможности с гордостью передавать из рода в род предание, что твоя рука держала ствол липы в то время, когда Фридрих XXI засыпал землей ее корни.

– За это когда-нибудь завесят мой портрет траурным флером.

Господин в экипаже засмеялся и, отворив дверцу, движением руки пригласил Майнау сесть в экипаж.

– Как! Сесть в карету, Рюдигер? Нет, благодарю покорно! – воскликнул с комическим ужасом Майнау. – Я, слава Богу, еще не страдаю подагрой! Поезжай далее с гордым сознанием исполненной тобой миссии! Ведь ты должен был привезти забытый крокет, счастливец?

Рюдигер выскочил из экипажа, захлопнул дверцу и, приказав кучеру ехать вперед, пошел вместе с Майнау по тропинке, ведущей через парк к рыбацкой деревне... Странно было видеть их вместе: приехавший в экипаже был маленьким, полным и чересчур подвижным; товарищ же его был очень высок, так что ему приходилось часто раздвигать нижние ветви деревьев, чтобы не задеть их головой. Этот человек обладал незаурядной наружностью; в выразительном лице и во всех его движениях замечался какой-то демонический огонь, то мечтательно светившийся в его глазах, то через минуту заставлявший нежную, мягкую руку его сжиматься в кулак, точно она готовилась свалить на землю ненавистного противника. Своевольный мальчик, которого мы видели в рыбацкой деревне, был невероятно похож на него.

– Так пойдем! – сказал Рюдигер. – К несчастью, на обед сегодня мы не опоздаем ни в коем случае... Брр! Детская кашка и пудинги во всевозможных видах!.. Выговора я также не боюсь, потому что приведу тебя с собой... *À propos*¹, ты дня на два уезжал, как сообщил твой Лео герцогине?

– Да, уезжал, достойнейший друг.

В этом лаконичном ответе звучала такая ирония, что у маленького подвижного господина вопрос «куда?» так и замер на губах... Они только что вышли из чащи, как перед ними открылся вид на спокойную поверхность пруда и рыбацкую деревеньку, расположенную на другой его стороне.

Под липами были расставлены покрытые белоснежными скатертями столы. Между ними и тем из домиков, у дверей которого был виден герцогский повар в белом колпаке, сутившийся у плиты, бегали взад и вперед официанты – готовился обед.

Взволновавшая всех сцена, разыгранная маленьким Лео, была давно забыта; дети играли в разные игры, и все способные бегать принимали участие в игре – и грациозные фрейлины, и стройные камер-юнкеры. И даже менее подвижные кавалеры, толстяки и страдающие одышкой обер-гофмейстеры ковыляли, похлопывая в ладоши, среди групп резвившихся детей.

Герцогиня подошла так близко к берегу пруда, что вода едва не касалась ее ног. Точно белоснежный лебедь, тихо колыхалось ее отражение в зеркальной поверхности. Некоторые из приближенных дам принесли ей венок из дикого винограда и полевых цветов; он оттенял ее лоб и спускался длинными зелеными гроздьями на ее роскошные плечи.

¹ Кстати (фр.). (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)

– Офелия! – воскликнул барон Майнау вполголоса, в патетическом жесте подняв руку, и в тоне, каким он это произнес, прозвучал неприкрытый сарказм.

Спутник его заволновался.

– Ну, к чему это, ведь это чистая комедия, Майнау! – воскликнул он негодуя. – Это может быть хорошо с дамами, которые трепещут перед тобой, как овечки, а не со мной.

Он сунул руки в карманы своего легкого пальто, поднял плечи и начал, лукаво улыбаясь:

– Однажды жили-были прекрасная, но бедная принцесса и блестящий, красивый молодой человек. Они любили друг друга, и ее высочество хотела отказаться от своего титула и сделаться простою баронессою... – Он на минуту умолк и бросил искоса взгляд на своего спутника, отметив, что красавец барон вдруг побледнел и, стиснув зубы, устремил такой жгучий взгляд в чашу, что, казалось, молодая листва должна была бы от него поблекнуть, а затем простодушно продолжил:

– Вдруг является кузен принцессы, владетельный принц, и просит ее прекрасной руки. Много горьких слез пролилось из чудных черных глаз; но под конец гордая кровь восторжествовала над страстью, и принцесса позволила возложить герцогскую корону на свои роскошные черные локоны... Положив руку на сердце, Майнау, – вдруг с живостью прервал он самого себя, – кто бы мог осудить ее тогда? Разве только глупые люди!

Майнау не положил руку на сердце и ничего не ответил; он в гневе сломал маленькую ветку, дерзнувшую коснуться его щеки, и далеко отбросил ее.

– Как должно биться сегодня ее сердце! – сказал Рюдигер после минутной паузы; он, видимо, желал во что бы то ни стало продолжить интересный для него разговор. – Траур по мужу кончен; герцогская гордость удовлетворена навсегда, потому что она герцогиня и всегда останется матерью владетельного принца; ты тоже свободен от своих брачных уз. Обстоятельства так отлично складываются... и теперь ты меня не надуешь! Мы знаем, что сегодня должно произойти.

– Как же вы проницательны, подумать только! – воскликнул Майнау с притворным изумлением.

С этими словами они вышли на открытую поляну, где стояли экипажи. Не желая быть замеченными резвившимися детьми и толпой народа, наши друзья предпочли идти по тропинке, пролегающей вдоль берега.

– Эй, малый, ты с ума сошел! – воскликнул вдруг Майнау, схватив за шиворот здорового мальчика-оборванца, который избрал себе очень опасный пост – он качался, сидя на тонкой ветке, склонившейся над прудом. Встряхнув парнишку несколько раз, как мокрого пуделя, Майнау поставил его на ноги. – Положим, холодное купание не повредило бы тебе, любезный, – засмеялся он, похлопывая руками, затынутыми в изящные перчатки, – только я сомневаюсь в твоём умении плавать.

– Фу, как он грязен! – сказал Рюдигер, брезгливо морщась.

– Это правда, но уверяю тебя, что я не особенно брезглив к подобным прикосновениям – это просто плебейские замашки, в которых душа не принимает участия... Да, но, воля твоя, нам еще далеко до того совершенства, когда и тело наше проникнется аристократизмом и подобные замашки сделаются для него невозможными. Что? Ты не согласен?

Рюдигер с досадой отвернулся и ускорил шаг.

– Твой геройский подвиг замечен там, на Майенфесте, – сказал он торопливо. – Вперед, Майнау! Герцогиня покидает берег пруда... А вот и твой необузданный мальчик бежит!

Маленький Лео, обогнув пруд, быстро бежал навстречу отцу. Барон Майнау нежно поцеловал сына и повел его, взяв за руку.

Между тем игры на Майенфесте продолжались; герцогиня в сопровождении нескольких дам и кавалеров медленно приближалась к ним... Она обладала еще и воздушной походкой, неподражаемой грацией и гибкостью креолки... Да, мрачное траурное платье было сброшено,

как сбрасывает пестрая легкокрылая бабочка безобразную куколку. Долг был исполнен, приличия строго соблюдены, наконец можно было надеяться на счастье, и глаза могли беспрепятственно гореть ярким пламенем страсти, что в настоящую минуту и происходило.

– Я должна побранить вас, барон Майнау, – сказала она нетвердым голосом. – Вы сейчас испугали меня своим героизмом, и потом, вы явились слишком поздно.

Он снял шляпу и, держа ее в правой руке, низко поклонился. Луч солнца заиграл на темных кудрях этого загадочного человека, перед которым женщины трепетали, «как овечки».

– Я вместе с другом Рюдигером мог бы заявить, что расстроен, – отозвался он, – но, боюсь, ваше высочество не поверит в это, когда я сообщу, что именно меня удержало.

Удивленная герцогиня взглядела в его лицо – оно немного побледнело, но взгляд его, почти всегда загадочный, горел таким диким торжеством, что она невольно прижала руку к сердцу; цветок у пояса сломался и упал незамеченным к ногам красавца.

Напрасно ждал он вопроса царственной женщины: она молчала и тоже ждала, затаив дыхание. После минутного молчания он, почтительно поклонившись, продолжил:

– Я был в Рюдисдорфе, у тетки моей Трахенберг, и осмелюсь доложить вашему высочеству, что обручился там с Юлианой, графиней Трахенберг.

Все присутствовавшие при этом разговоре точно окаменели. Но у кого достало бы мужества хотя бы одним звуком прервать это ужасное молчание или хотя бы бросить нескромный взгляд на герцогиню, которая стояла пораженная, крепко сжав побелевшие губы? Только племянница ее, молодая принцесса Елена, весело и непринужденно засмеялась и сказала:

– Что за дикая фантазия, барон Майнау, избрать себе жену с именем Юлиана? Юлиана! Фу! Ее иначе себе и представить нельзя, как с очками на носу.

Майнау тоже засмеялся, и как мелодичен и простодушен был его смех!.. Это был спасительный исход. Герцогиня тоже улыбнулась своими смертельно бледными губами. Она сказала несколько слов жениху таким невозмутимо спокойным голосом и с таким достоинством, как может приветствовать своего подданного только повелительница.

– *Mesdames*, – непринужденно обратилась она к группе молодых фрейлин, – к сожалению, я должна снять ваш прелестный венок: он давит мне на виски, а потому я удаляюсь на минуту... Встретимся за обедом!

Она отказалась от услуг, предложенных ей одной из придворных дам, вошла в домик и затворила за собой дверь.

Цвет лица ее всегда напоминал нежную белую лилию, а прекрасные глаза нередко горели тем жгучим огнем, в котором сказывается южная кровь; она, по обыкновению, улыбалась и приветливо кланялась и исчезла за дверью подобно воздушной фее. Никто бы и представить не мог, что, войдя внутрь, она, как сраженная молнией ель, бессильно упадет возле кушетки на устланный мягким ковром пол, с безумным хохотом сорвет с головы венок и, невыносимо страдая, вонзит тонкие ногти в драгоценную шелковую обивку... Только на одну минуту, так как все ее время было строго расписано придворным этикетом, она могла предаться горю, а затем эти бледные губы должны были опять улыбаться, чтобы окружающие не сомневались, что кипучая кровь бесстрастно течет в ее жилах.

Между тем барон Майнау стоял с сыном, которого по-прежнему держал за руку, на берегу пруда и, по-видимому, с любопытством присматривался к движению толпы у Вагенбурга. Его поздравили, но все придворное общество явно было потрясено, и вскоре он остался один. Вдруг Рюдигер подошел к нему.

– Ужасная месть! Блестящий реванш! – проговорил он, и голос его еще дрожал от ужаса. – Бр-р... И я скажу, как Гретхен: «Генрих, мне страшно за тебя!..» Боже мой! Видел ли кто когда-нибудь, чтобы мужчина удовлетворил свое оскорбленное самолюбие так жестоко, чтобы он так утонченно и так безжалостно поразил свою жертву, как ты сделал это сейчас? Это безумно, смело, возмутительно!

– Потому что я выразился не в общепринятой форме и не заявил: «Теперь я не хочу!..» Неужели вы думаете, что я позволю себя женить?

Маленький подвижный господин искоса робко взглянул на него: этот утонченно вежливый Майнау бывал иногда очень резок, чтобы не сказать груб.

– Я утешаю себя тем, что при всей твоей жестокой и непреодолимой гордости ты все-таки очень страдаешь, – почти сердито сказал он после непродолжительного молчания.

– Надеюсь, что ты предоставишь мне возможность самому справиться с собою.

– Ах, боже мой! Разумеется... Но что же дальше?

– Что дальше? – рассмеялся Майнау. – Дальше свадьба, любезный Рюдигер.

– В самом деле? Да ведь ты никогда не бывал в этом Рюдисдорфе – это я наверняка знаю... Значит, это наскоро приобретенная невеста из Готовского альманаха?

– Угадал, друг.

– Гм!.. Она знаменитого рода, но... но Рюдисдорф, как известно, теперь опустел... Какова же она собою?

– Добрейший Рюдигер, это двадцатилетняя жердь с рыжими волосами и потупленным взором – больше я ничего не знаю. Ее зеркало должно лучше это знать... А, да что в этом?.. Мне не нужно ни красивой, ни богатой жены – она должна быть только добродетельна, не должна так вести себя, чтобы мне пришлось за нее краснеть. Ведь ты знаешь мои воззрения на брак.

Та же самая жестокая, гордая улыбка, какая только что заставила побледнеть герцогиню, промелькнула на его губах – очевидно, он вспомнил о «блестящем реванше».

– Что же мне остается делать? – спросил он с наигранной беззаботностью после некоторого молчания. – Дядя прогнал гувернера Лео за то, что тот по ночам читал лежа в постели и носил сапоги со скрипом, а наставница имеет скверную привычку то и дело отводить глаза и мимоходом тайком лакомиться с подносов конфетами – она просто невозможна! Я же намерен в скором времени предпринять путешествие на Восток, *ergo*², мне нужна дома жена... Через шесть недель назначена моя свадьба – хочешь быть у меня шафером?

Маленький господин переминался с ноги на ногу.

– Что же с тобой поделаешь! Разумеется, я буду, – отвечал он полугневно, полущутливо, – потому что из тех, – и он указал на группу перешептывавшейся и пересмеивавшейся молодежи, – из тех никто не пойдет к тебе в шафера, в этом ты можешь не сомневаться.

– Слышишь, Габриель, – сказал вслед за тем взволнованный маленький Лео своему товарищу, – новая мама, которая к нам скоро приедет, похожа на жердь, говорит папа, и волосы у нее рыжие, как у нашей судомойки... Я ее терпеть не могу, я не хочу ее и стану бить ее хлыстом, когда она приедет.

² Следовательно (лат.). (Примеч. ред.)

Глава 3

– Посмотри-ка, Лиана, подарок Рауля! Он стоит шесть тысяч талеров! – послышался голос графини Трахенберг из другой комнаты, после чего она сама показалась на пороге.

Зал, куда она вошла, находился в нижнем этаже одного из боковых флигелей замка. Весь его фасад представлял одну сплошную застекленную раму гигантских размеров с тонкими свинцовыми переплетами, отделявшую покои нижнего этажа от террасы. Отсюда открывался вид на лужайки, полные цветов и прорезанные дорожками, усыпанными мелким гравием; на пересечениях этих дорожек стояли скульптурные группы из белого мрамора. Этот изящный цветник был окружен рощей, казавшейся непроходимым лесом, и как раз против средней стеклянной двери зала пролегла сквозь чащу бесконечной длины прямая аллея, заканчивавшаяся высоко бьющим фонтаном, освещенным теперь чудным сиянием майского солнца.

В общем замок и сад являли собой образец старофранцузского вкуса, но – увы! – на каменном фундаменте террасы зеленел мох, ступени поросли травой, которая пробивалась и на дорожках. Даже на широкой аллее виднелась изумрудная трава... Но чего только не насмотрелся потолок прилегавшего к террасе зала, украшенный великолепной живописью! Теперь он печально нависал над расставленной у стен мебелью в стиле рококо. Эта мебель, уже вышедшая из моды, давно была изгнана из парадных комнат замка, выдержала все стадии унижения и, наконец, дожила до того, что была перенесена в комнату конюха и в числе прочего хлама скрывалась под густым слоем пыли... Но вот она опять очутилась на прежнем месте, как неподкупный свидетель превратностей судьбы. Вытеснившая ее когда-то роскошная обстановка – новая изящная мебель, кружевные гардины, часы, картины, зеркала – все подверглось общей неизбежной участи, все пошло с молотка и разошлось на все стороны, и тогда-то старинная мебель, не подлежавшая как фидеикоммис³ секвестру⁴, наложенному на все имущество графа Трахенберга, поставлена была на прежнее место. Этот «постыдный признак беспокойного времени, возмутительная победа, которую правосудное небо не должно было бы допускать», как постоянно повторяла графиня Трахенберг, случился четыре года тому назад.

Среди этого зала стоял длинный дубовый стол, за одним концом которого сидела девушка, поразительно некрасивая собой. Можно было просто испугаться при виде этой непомерно большой головы с жесткими рыжими волосами и с физиономией негра, с тою только разницей, что кожа ее, хотя и покрытая веснушками, была необыкновенно бела и нежна. Только проворно работавшие руки были чудно хороши, точно изваянные из мрамора. Девушка вертела между пальцами ветку лиловой сирени, и, казалось, чудный аромат исходил от этой ветки и наполнял комнату – так свежа была она; но стебелек ее в эту минуту обвивался тонкой полоской зеленой бумаги, почему только и можно было догадаться, что это был искусственный цветок.

При появлении графини девушка вздрогнула от испуга, цветок полетел в сторону к прочим материалам, а на молчаливых свидетелей ее занятий был наброшен платок.

– Ах, мама! – воскликнула вполголоса юная девушка, стоявшая у другого конца стола, спиной к двери.

Волосы ее, рыжие с красноватым отливом, были совершенно распущены и, подобно золотой мантии, покрывали ее плечи до самого подола ее светлого кисейного платья.

Увидав ее с распущенной косой, графиня на секунду замедлила шаг.

³ В германском праве родовое имущество, отчуждавшееся и передававшееся по наследству в особом порядке. (Примеч. ред.)

⁴ Запрещение или ограничение, налагаемое государственной властью на пользование или распоряжение имуществом. (Примеч. ред.)

– Почему ты растрепана? – спросила она, указывая на волосы.

– Я возвратилась домой с сильной головной болью, милая мама, и поэтому Ульрика расплела мне косы, – робко ответила молодая девушка. – Ах, это ужасная тяжесть! – вздохнула она и запрокинула голову, как бы изнемогая под тяжестью роскошных волос.

– Ты опять бродила по этой жуткой жаре и нанесла сюда негодной травы для забавы мужиков? – спросила графиня гневно и строго. – Когда же настанет конец этому ребячеству?

Она пожала плечами и бросила презрительный взгляд на стол. На нем лежала целая кипа папиросной бумаги рядом с прессом, из-под которого молодая девушка только что вынула несколько орхидей, чтобы уложить их в гербарий. Ее сиятельство графиня Трахенберг, урожденная княжна Лютовиская, знала очень хорошо, что старшая дочь ее, графиня Ульрика, занималась изготовлением искусственных цветов, которые посылались в Берлин, где весьма неплохо оплачивались; в этом деле ей помогала старая кормилица, и никто не подозревал, что голову искусной художницы украшала графская корона... Графине также было известно и то, что ее единственный сын и наследник замка Трахенберг с помощью своей сестры Юлианы отлично высушивал презренную, непотребную траву и в виде комплекта образцов чужеземной флоры продавал в Россию от чужого имени. Но урожденная княжна Лютовиская не должна была этого знать – и горе той руке, которую она застала бы за неприличной работой, или языку, который решился бы намекнуть на источники увеличения доходов семьи: это было просто забавой, на которую следовало смотреть сквозь пальцы, – и более ничего!

Проходя мимо, графиня подхватила волосы дочери и взвесила в руке их «ужасную тяжесть»; что-то похожее на чувство материнской гордости промелькнуло на ее еще прекрасном, с резкими чертами лице.

– Рауль должен бы это видеть, – сказала она. – Глупенькая, ты скрыла от него свое лучшее украшение! Я никогда не прощу тебе тех огромных бархатных бантов, которые ты придумала надеть на голову в первый визит его к нам... С такими волосами...

– Да ведь они рыжие, мама.

– Вздор! Вот эти рыжие, – сказала она, указывая на другую свою дочь, Ульрику. – Боже меня избави от двух рыжих голов! За что такое жестокое наказание?

Графиня Ульрика, вынувшая между тем из кармана какое-то вышивание, сидела, как статуя, и слушала беспощадные слова эти с невозмутимым спокойствием. Ни один мускул на ее лице не дрогнул: ведь ее красавица мать была права. Сестра подбежала к ней и, ласкаясь, положила голову ей на грудь, а потом принялась с нежностью целовать ее рыжие волосы.

– Сентиментальности без конца! – раздраженно проворчала графиня Трахенберг и положила на стол принесенный с собой большой пакет.

Взяв со стола ножницы, она торопливо вскрыла его и вынула оттуда футляр с ожерельем и белую шелковую материю, затканную серебряными арабесками.

С необыкновенною жадностью набросилась она на футляр, открыла его и, держа в вытянутой руке, устремила испытующий взгляд на подарок; при этом она едва могла совладать с охватившим ее чувством неприятного удивления и зависти.

– Посмотрите-ка! Моя скромная овечка предстанет пред алтарем более прекрасной, нежели знаменитая княжна Лютовиская, – проговорила она медленно, подчеркивая каждое слово и играя в лучах солнца ожерельем из бриллиантов и крупных изумрудов. – Да, конечно, для Майнау это возможно! А ваш отец был бедняк, я должна была бы еще тогда это заметить.

Ульрика вскочила, как будто мать ударила ее по лицу; в некрасивых, но выразительных, опущенных длинными ресницами голубых глазах ее сверкнула искра негодования; но, овладев собой, она села и, продергивая зеленую нить в шитье, сказала серьезным, монотонным голосом:

– Трахенберги обладали тогда большим состоянием, оценивавшимся в полмиллиона. Они, кажется, всегда отличались бережливостью и умением жить, и мой дорогой отец оставался верен этим добродетелям до сорокового года своей жизни, когда он женился... Я вместе

с чиновниками пыталась пролить свет на этот хаос, а поэтому знаю, что отец обеднел только вследствие своей безграничной уступчивости.

– Бессовестная! – выкрикнула графиня, и приподнятая рука ее невольно сжалась в кулак, но в ту же минуту опустилась в презрительном жесте. – Ты всегда защищаешь твоих Трахенбергов; у меня с тобой ничего нет общего, кроме того, что я дала тебе жизнь. Ты в этом еще больше убедишься, когда согласишься на всех своих предков, собранных в портретной галерее, где рыжеволосые обезьяны покрывают стены сверху донизу! Недаром я плакала и проклинала судьбу, когда тридцать лет тому назад положили мне на колени новорожденное чудовище, живую Трахенберг!

– Мама! – воскликнула Лиана.

– Успокойся, успокойся, дитя! – уговаривала ее, кротко улыбаясь дрожащими губами, сестра.

Она свернула свою вышивку и поднялась с места. Сестры были одинакового роста, стройные, как сильфиды, с благородными красивыми руками и ногами, гибкой талией и по-детски неразвитым бюстом.

В то время как мать гневно бросила на стол футляр с ожерельем, Ульрика не спеша развернула шелковую материю. Необыкновенно плотная, она скорее походила на парчу времен наших прабабушек и была такой тяжелой, что выскользнула из ее рук и, шурша и шипя, упала на паркет. Бросив испуганный взгляд на драгоценную ткань, Лиана отвернулась и стала всматриваться вдаль так пристально, как будто решила во что бы то ни стало пересчитать золотистые брызги отдаленного фонтана, сверкавшие на солнце подобно алмазам.

– Ты будешь величественной невестой, Лиана... Ах, если бы отец мог видеть тебя! – воскликнула Ульрика.

– Рауль издевается над нами, – прошептала глубоко оскорбленная девушка.

– Он издевается над нами? – переспросила графиня, от тонкого слуха которой не ускользнули слова дочери. – В своем ли ты уме? Не будешь ли так любезна объяснить мне, каким образом может он издеваться над Трахенбергами?

Лиана молча указала на полинявшую обивку старомодной мебели, возле которой лежала роскошная ткань на подвенечное платье.

– Можно ли вообразить себе более поразительный контраст, мама? Разве это не бестактно, не унижительно перед лицом бедности? – возразила она, стараясь преодолеть страх, внушаемый ей матерью.

Графиня Трахенберг всплеснула руками:

– Боже мой! И это я, я произвела на свет такие пустые головы с плебейскими воззрениями, которые меряют свое высокое положение на аршин торгаша!.. Унижительно! И это говорит графиня Трахенберг!.. Ты снисходишь до Майнау, согласившись на эту партию... Пойми ты это!.. Неужели я должна напоминать тебе, что твоя мать происходит по прямой линии от польских королей, а твои предки со стороны отца еще до крестовых походов были владетельными князьями? И если бы Рауль бросил к твоим ногам все сокровища мира, то и тогда это не перевесило бы знатность твоего безупречного рода... Он не насчитает и десяти поколений предков, и ты скорее идешь на *mesalliance*⁵. Если бы мне не была невыносима мысль, что у меня дома торчат две незамужние дочери, то я никогда не согласилась бы на его предложение. Он и сам хорошо это знает, в противном случае он не взял бы тебя в жены так необдуманно.

Молодая девушка стояла неподвижно, опустив сцепленные руки. Красновато-золотистые волосы ее падали теперь и на грудь, почти скрывая ее профиль, между тем как сестра ее молча, скорым шагом ходила взад и вперед по залу.

⁵ Мезальянс (фр.) – брак с лицом низшего социального положения, неравный брак. (Примеч. ред.)

В эту минуту дверь, выходившая в коридор, осторожно отворилась, и в ней показалась старая кормилица, исполнявшая теперь обязанности кухарки.

– Осмелюсь доложить вашему сиятельству, – сказала она почтительным и тихим голосом, – почтальон еще тут; он не хочет больше ждать.

– Ах да! Я совсем забыла о нем. Ну, пусть он дожидается, пока я выйду к нему. Дай ему чашку кофе в кухне, Лена!

Служанка ушла, а графиня вынула из кармана записку.

– Почтальону надо дать на чай, да по этой повестке мы должны уплатить сорок талеров. Реймские купцы до того дерзки, что высылают заказанное мною для свадьбы шампанское наложенным платежом! Заплати! – обратилась она к Ульрике, подавая ей счет.

Яркая краска разлилась по некрасивому лицу дочери.

– Ты заказала шампанское, мама! – воскликнула она с изумлением. – О боже, и на такую громадную сумму!

Графиня Трахенберг злобно усмехнулась, показав при этом целый ряд искусственных зубов.

– Неужели ты думала, что я стану угощать гостей на свадебном завтраке смородиновой наливкой твоего изготовления? Впрочем, как я уже говорила, я никак не ожидала такой бессовестности со стороны купцов – требовать немедленной уплаты денег! – Она пожала плечами. – Теперь приходится, как говорят, *faire bonne mine au mauvais jeu*⁶ и уплатить.

Молча отперла Ульрика письменный стол и вынула оттуда два свертка с деньгами.

– Вот все наше достояние, – сказала она решительно. – Тут тридцать пять талеров, но на них нам надо жить, потому что не в одном Реймсе отказывают нам в кредите: во всей окрестности не дают нам ни одного лота⁷ мяса без немедленной оплаты. Ты не можешь этого не знать, мама.

– Разумеется. Моя мудрая дочка Ульрика довольно часто проповедует мне на эту излюбленную ею тему.

– Я вынуждена идти на это, мама, – спокойно пояснила Ульрика, – так как ты часто забываешь, впрочем, это и понятно, что кредиторы сократили цифру нашего годового дохода с двадцати пяти тысяч до шестисот талеров.

Графиня Трахенберг зажала уши и бросилась к одной из стеклянных дверей; все жесты этой величественной дамы более подошли бы избалованному ребенку. Она рванула дверь, хотела было выбежать вон, но вдруг остановилась, точно вспомнила что-то.

– Ну, хорошо, – проговорила она, снова хлопнув дверью, по-видимому уже немного успокоившись, – только шестисот талеров. Но позвольте же, наконец, спросить, на что они тратятся? Едим донельзя скудно – какой-то нищенский суп, а еще Лена кормит нас рисом, яйцами да молочными кушаньями до тошноты, а порции пекко, которыми ты ежедневно угощаешь нас, становятся все гомеопатичнее. К тому же я облеклась в этот вечный мундир, – тут она указала на свое черное шелковое платье, – который вы соблаговолили подарить мне к Рождеству. Все, что могло сделать мою отшельническую жизнь сколько-нибудь сносной, – новейшие французские книги, конфеты, духи – все это давно сделалось для меня недоступным... А потому я справедливо заключаю, что у тебя денег на расход больше, нежели ты показываешь!

– Ульрика никогда не лжет, мама! – воскликнула возмущенная Лиана.

– Не могу же я отослать обратно на почту извещение! – произнесла графиня. – Прошу закончить эту комедию и уплатить деньги по счету.

– Но где я возьму их? Надо отправить вино назад! – спокойно настаивала на своем Ульрика.

⁶ Делать хорошую мину при плохой игре (фр.).

⁷ Лот – дOMETрическая единица измерения массы, 12,8 г. (Примеч. ред.)

Мать с громким воплем бросилась навзничь на диван и разразилась истерическим хохотом.

Спокойно, со скрещенными руками стояла Ульрика у изголовья дивана и смотрела, как билась и металась графиня в истерическом припадке, и на губах ее мелькала горькая, ироническая усмешка.

– Бедный Магнус! – прошептала Лиана, указав на дверь соседней комнаты. – Как он там встревожится от этого шума! Пожалуйста, мама, успокойся! Магнус не должен видеть тебя в таком состоянии: что он подумает? – обратилась она не то просительно, не то с упреком к матери.

Возмутительную сцену дочерям не удалось предотвратить всевозможными уступками и покорностью. Лианой овладело справедливое негодование, какое ощущает человек с твердым характером при виде подобного малодушия. Девушка дрожала уже не от страха – чувствовалась уверенность в том, как она подняла руку, серьезно уговаривая мать. Но проповедь ее была гласом вопиющего в пустыне: крики и хохот продолжались.

Дверь в соседнюю комнату действительно отворилась, и Лиана побежала к ней.

– Уйди, Магнус, останься там! – попросила она по-детски растроганным голосом и мягко постаралась удержать входившего брата.

На самом деле не требовалось большой силы, чтобы не впустить в комнату этого худенького и деликатного молодого человека.

– Пропусти меня, маленький Фамулус⁸, – сказал он ласково; умное лицо его светилось радостью. – Я все слышал и принес гонорар.

Но при виде графини, бившейся в судорогах на диване, он невольно замер на пороге.

– Мама, успокойся, – сказал он с дрожью в голосе, подходя к ней. – Ты можешь заплатить за вино. Вот деньги – пятьсот талеров, милая мама!

И он высоко поднял руку, в которой держал банковские билеты.

Ульрика тревожно глядела ему в лицо; она сильно покраснела, но брат этого не заметил. Он небрежно бросил деньги на диван, где лежала мать, и развернул принесенную с собой книгу.

– Посмотри, душа моя, вот она наконец! – сказал он растроганной Лиане.

Лежавшая на диване графиня начала успокаиваться. Со стоном провела она по глазам рукой, и сквозь сжатые пальцы ее взгляд, вдруг сделавшийся осознанным, устремился на книгу, которую сын держал в руке.

– Только не возгордись, мой милый маленький Фамулус! – проговорил Магнус. – Наша рукопись вернулась к нам изящным изданием. Она одобрена наукой и победоносно проходит сквозь перекрестный огонь критики. Ах, Лиана, прочти письмо издателя!

– Молчи, Магнус! – сурово и повелительно прервала его Ульрика.

Но графиня Трахенберг уже сидела на диване.

– Что это за книга? – спросила она.

Ни в грозных чертах ее лица, ни в повелительном тоне не было и следа только что прекратившегося истерического припадка.

Ульрика поспешно взяла из рук брата книгу и обеими руками прижала ее к груди.

– Это сочинение об ископаемых растительного царства, написанное Магнусом, а Лиана снабдила его рисунками, – пояснила она.

– Подай сюда, я хочу ее посмотреть!

Взглянув с упреком на брата, Ульрика подала нерешительно книгу; Лиана же побледнела и сначала судорожно сжала свои тонкие пальцы, а потом закрыла ими лицо: она с детства

⁸ В университетах некоторых стран ассистент, студент, находящийся в распоряжении профессора для выполнения поручений. (Примеч. ред.)

привыкла бояться этого выражения лица матери, как едва ли боялась адских мук, которыми грозила ей когда-то няня.

– «Ископаемые растения, сочинение графа Магнуса фон Трахенберга», – громко прочла графиня.

Гневно сжав губы, она с минуту пристально и уничтожающе смотрела поверх книги в лицо сына.

– А где же имя художника? – спросила она, переворачивая заглавный лист.

– Лиана не захотела указывать своего имени, – сказал молодой человек совершенно спокойно.

– А, так хоть в одной из этих голов нашлась искра здравого рассудка, пусть слабое, но сознание своего положения!

Она принужденно захохотала и отбросила от себя толстый том с такой силой, что он с шумом пролетел через открытое окно и шлепнулся на каменные ступени террасы.

– Вот где место этой чепухе! – воскликнула она, указывая на книгу, которая при падении открылась на одном из великолепных рисунков, изображавших допотопный папоротник. – О трижды счастливая мать, какому сыну дала ты жизнь! Слишком малодушный, чтобы сделаться солдатом, слишком ограниченный, чтобы быть дипломатом, он, потомок князей Лютовиских, последний граф Трахенберг, унижает себя до того, что сочиняет книги за плату!

В страстном порыве неудержимого горя Лиана обвила руками худенькие плечи брата, который, видимо, всеми силами старался сохранить внешнее спокойствие, слыша такие оскорбления.

– Мама! Как можешь ты обижать Магнуса? – вспыхнула молодая девушка. – Ты называешь его малодушным? Но не он ли семь лет тому назад, с риском для собственной жизни, вытащил меня из пруда? Да, он решительно отказался от военной службы, но только потому, что его кроткое и мягкое сердце противится кровопролитию... По-твоему, он слишком ограничен, чтобы быть дипломатом, – он, неутомимый и глубокий мыслитель? О, мама, как ты жестока и несправедлива к нему! Он ненавидит лицемерие и не хочет осквернять свой благородный и высокий ум шахматными ходами дипломатического искусства. Я тоже горжусь, очень горжусь своим старинным родом, но никогда не пойму, почему дворянин должен непременно владеть мечом или быть дипломатом.

– А теперь я спрошу, – прервала сестру Ульрика, выходявшая поднять книгу. – Что достойнее имени Трахенбергов: быть творцом замечательного труда или быть в числе несостоятельных должников?

– О, ты! – прошипела графиня, задыхаясь от гнева. – Ты, бич моей жизни! – И она, как безумная, стала метаться по залу. – Не понимаю, что же заставляет меня жить с тобой, – сказала она вдруг со зловещим спокойствием. – Ты уже давно не в том возрасте, когда цыпленку нужно еще покровительственное крыло матери. Я слишком долго терпела тебя, теперь даю тебе волю, неограниченную волю. Поезжай, если хочешь, в продолжительное путешествие по всему свету, ступай куда угодно, только поторопись освободить мой дом от своего присутствия!

Граф Магнус схватил руку девушки. Все трое – брат и две сестры – стояли, дружно обнявшись, перед бессердечной женщиной.

– Мама, ты вынуждаешь меня в первый раз заявить о своих правах как наследника Рюдисдорфа, – сказал тихий и кроткий ученый, покраснев от волнения. – По условиям кредиторов только я имею право на замок и на доходы с него... Ты не можешь лишать Ульрику родного крова – она живет здесь у меня.

Графиня повернулась к нему спиной и направилась к двери. Сын был так неоспоримо прав, что у нее не нашлось ни одного слова для возражения. Она уже взялась было за ручку двери, но вдруг обернулась к нему.

– А ты не смей ни одного гроша из этих предательских денег смешивать с нашей расходной кассой! – потребовала она от Ульрики, указав на лежавшие на диване пятьсот талеров. – Я лучше с голоду умру, нежели дотронусь до чего-нибудь, купленного на эти деньги... За вино я сама заплачу. Слава Богу, у меня довольно еще серебра, уцелевшего после крушения. Пусть же это серебро, на котором ели мои предки, обратится в деньги, по крайней мере, мне будет утешением сознавать, что я угощаю гостей по-княжески, а не на заработанные деньги... Ты же будешь должным образом наказана, – обратилась она к Лиане, – за то, что и ты восстала против матери! Переезжай в Шенверт! Майнау, Рауль, а еще более его старый дядя, вытрясут из тебя сентиментальность и ученые бредни.

С этими словами она вышла, так сильно хлопнув дверью, что эхо разнеслось под сводами всех, даже отдаленных, коридоров.

Глава 4

Прошло пять недель после этой сцены в замке Рюдисдорф. Теперь в нем вовсю шли приготовления к свадьбе. Лет шесть тому назад при подобном событии этот стеклянный замок походил бы на муравейник, потому что графиня любила окружать свою особу такой массой раболепствовавшей перед ней прислуги, как какой-нибудь индийский раджа. Лет шесть тому назад златокудрая фея встретила бы своего жениха в сказочном великолепии, роскошнейшими пиршествами в залитых морем огней обширных залах замка. Теперь же жених брал свою невесту из глубины запущенных садов, из опустевшего замка, украшенного статуями, мраморные колонны которого, свидетели минувшей счастливой жизни, затянуты были паутиной, точно грязными занавесами... В большом зале арендатор ссыпал урожай зерновых; все окна были закрыты белыми ставнями, и если сквозь них проникал солнечный луч, он падал на неподметенный паркет и совершенно пустые стены.

Хорошо еще, что гордые предки с их панцирями, шлемами и украшенными перьями шляпами на рыжих волосах, дамы в воротниках а-ля Мария Стюарт и в пышных платьях из золотой парчи не могли выглянуть из роскошных рам, висевших в портретной галерее, и бросить взгляд в зал, прилежавший к террасе, – они, наверное, выронили бы роскошные веера из павлиньих перьев или бледную розу из своих белых нежных пальцев и в ужасе всплеснули бы руками, потому что там перед старинною мебелью на коленях стояла Ульрика – настоящая Трахенберг, как называла ее графиня-мать, – и обдирала старую, съеденную молью обивку с дивана и кресел, заменяя ее пестрым ситцем, который прибивала сама, своими графскими ручками. Старая Лена усердно вытирала с мебели пыль, стараясь придать ей хоть какой-то лоск. Благодаря вовремя присланным издателем деньгам стояли тут новые плетенные из лозы кресла и подставки для цветов. По белым стенам опять вился зеленый плющ, а из групп широколистных растений спускались до самого пола побеги клематиса и дикого винограда. В пустом до того помещении стало снова так мило и уютно, как и подобает быть в зале, где назначен завтрак после венчания.

Во время этих приготовлений Лиана, вооружившись маленьким заступом и жестяным ящичком для растений, ходила вместе с братом по лесам и полям, собирая образцы для гербария, точно до этих свадебных приготовлений ей не было никакого дела. Брат же ее, созерцая чудеса природы, совершенно забыл, что его «маленький Фамулус», никогда с ним не разлучавшийся и всегда вместе с ним трудившийся, теперь должен будет покинуть его. С уст сестры то и дело слетали латинские названия или критические замечания, но ни разу не было произнесено имя жениха. Странная это была невеста!

В родительском доме ей иногда случалось слышать имя Майнау, один из князей Лютовиских был женат на ком-то из Майнау, но между отдаленными родственниками никогда не существовало близких отношений. Вдруг графиня Трахенберг стала получать из Шенверта письма, на которые исправно отвечала, и однажды ее сиятельство объявила своей младшей дочери, что дальний родственник ее, барон фон Майнау, просит ее руки, на что и получил согласие графини. Чтобы не допустить никаких возражений, она заявила, что и сама была помолвлена точно так же и что это единственная приличествующая их положению форма помолвки... Потом неожиданно приехал и жених. Лиана едва успела прикрыть большими бархатными бантами растрепавшиеся от ветра волосы, как ее позвали в комнату матери. Что потом было – она смутно помнила. Высокий красивый мужчина, стоявший до ее появления в оконном проеме, пошел ей навстречу; весеннее солнце, светившее в окно, было так ослепительно, что она вынуждена была потупить глаза. Потом он то ли по-отечески, то ли по-дружески говорил с ней о чем-то и, наконец, протянул ей руку, в которую она по указанию матери, а еще более по предшествовавшим тайным и неотступным просьбам Ульрики вложила свою руку. Тотчас

же вслед за этим он уехал, к несказанному удовольствию графини Трахенберг, мысли которой во время помолвки, точно привидения, носились в пустых погребках, где виднелись только бутылки со смородиновой наливкой. А старая Лена напрасно ломала себе голову, как бы ухитриться приготовить обед для графского стола, имея в запасе всего пяток яиц да остаток жареной телятины.

Все, что касалось свадьбы, было решено женихом и матерью невесты в переписке, и только свадебный подарок сопровождался коротенькой запиской к Лиане, запиской изысканно вежливой и любезной, однако холодной и формальной. Да и Лиана пробежала ее равнодушно, и с тех пор эта записка лежала в ящике вместе с подарком.

Все было так безукоризненно прилично и так «аристократично», а «повиновение» Лианы так беспрекословно, что графиня осталась вполне довольна и через несколько дней после бурной сцены стала опять обедать вместе с детьми и даже иногда обращалась к ним с милостивым словом. Конечно, она не догадывалась, как сильно страдала молодая девушка от предстоящей разлуки; впрочем, Лиана умела скрыть это даже от брата и сестры...

Настал день свадьбы. Проснувшееся июльское утро было пасмурным и сырым. После жарких сухих дней шел освежающий дождик и серебристыми каплями падал на широкие листья растений и пестрые лужайки. На ветках деревьев и кустарников и на крыше замка громко чирикали птички, а старая Лена, хлопотавшая около плиты, загляделась в окно, радуясь, что венок невесты будет окроплен дождем.

Одна только карета, да и та нанятая на ближайшей станции железной дороги, подъехала к крыльцу Рюдисдорфского замка. Пока она отъезжала и наконец скрылась в одном из громадных пустых сараев, двое приезжих медленно поднялись на крыльцо замка. Барон Майнау был чрезвычайно аккуратен: он приехал, как и было условлено, за полчаса до венчания.

– Господи помилуй, и это жених! – вздохнула старая Лена и отошла подальше от окна.

На террасе широко растворилась стеклянная дверь, и графиня поспешила навстречу гостям. Дождевые капли падали на ее темно-фиолетовое бархатное платье с длинным шлейфом и сверкали на взбитых черных волосах рядом с несколькими уцелевшими после крушения бриллиантами. С томным взглядом приветливо протянула она барону тонкие, изящные руки в богатых кружевах, и кто бы мог вообразить, что эти руки в минуты бешенства способны были с силой фурии швырнуть тяжелый предмет и пробить им застекленную раму.

От дождя приезжие укрылись в комнате графини, и там Майнау представил ей своего шафера, господина фон Рюдигера. Среди веселой болтовни светского разговора раздавались крики ара в оконной нише, а на выцветшем ковре, ворча, играли два крошечных белоснежных пуделя... Если бы не гирлянда, которую сплела старая Лена, чтобы украсить к приезду жениха входную дверь, и не по-княжески роскошный туалет графини, никому не пришло бы в голову, что в этом доме готовится брачное торжество, – так пуст и банален был разговор, затеянный графиней, так равнодушно, спокойно и неподвижно стоял у окна жених в элегантном черном фраке и смотрел на двор замка, где теперь снова воцарилась тишина, прерванная только на минуту шумом колес привезшего его экипажа. Хотя Рюдигеру известно было, при каких условиях заключался этот брак, и он был слишком светским человеком, чтобы не находить все это в порядке вещей, эта страшная пустота и безмолвие пугали маленького подвижного господина, и он вздохнул свободно только тогда, когда, наконец, медленно и торжественно отворилась противоположная дверь.

Вошла невеста под руку с братом и в сопровождении Ульрики. Вуаль закрывала лицо и падала ей на грудь, а сзади касалась подола ее скромного белого тюлевого платья с высоким воротом, кое-где подколотого миртовыми букетиками, да несколько веточек мирта украшали ее голову. Напрасно ваш взгляд стал бы искать тяжелого, затканного серебром подвенечного туалета. Бедная невеста из бюргерской семьи не могла бы придумать себе более скромного наряда. Она вошла с опущенными глазами, а потому не заметила сначала удивленного, а потом

сострадательно-насмешливого взгляда, которым смерил ее барон Майнау; но она невольно содрогнулась, когда мать с ужасом окликнула ее:

– Что это значит, Лиана? На кого ты похожа? С ума ты сошла?

Таково было благословение, которым разгневанная графиня встретила молодую девушку, готовившуюся сделать решительный шаг в своей жизни. Она была до того взволнована, что забыла обо всем и уже подняла было руку, чтобы вытолкнуть дочь за порог.

– Ты сейчас же возвратишься в свою комнату и переоденешься!

Но тут она невольно замолчала: барон Майнау сжал ее дрожавшую руку; он не сказал ни слова, но взглядом и движением так энергично и красноречиво потребовал прекратить дальнейший разговор на эту тему, что графине поневоле пришлось уступить.

Из-за притворенной двери выглядывала старая Лена и, затаив дыхание, ждала минуты, когда жених заключит в свои объятия ее «прекрасную стройную графиню» и в первый раз поцелует ее. «Этой дубине» и в голову не приходило приветствовать свою невесту поцелуем; он ограничился тем, что сказал ей несколько ласковых слов, поднес как бы нехотя к губам ее руку, едва коснулся ее, точно боялся сломать эти хрупкие пальчики, и подал ей букет великолепных цветов.

– Цветы у нас у самих есть, – проворчала старуха, и взгляд ее машинально скользнул по длинному коридору, усыпанному зеленью и цветами...

Вслед за тем зашуршало злополучное тюлевое платье по рассыпанным розам и герани, а графиня-мать, шедшая под руку с Рюдигером за женихом и невестой, своим тяжелым бархатным шлейфом сметала в кучи эти бедные цветы.

Мраморные изображения апостолов, украшавшие алтарь и кафедру церкви Рюдисдорфского замка, не раз видели бледное, грустное лицо невесты и слышали холодное «да» из уст равнодушного жениха, потому что в роде Трахенбергов не существовало обычая не только поощрять «сентиментальную любовь», но даже осведомляться, по сердцу ли невесте избранный для нее жених.

Но такой скромной, без пения и органа, свадьбы здесь не было еще никогда. Жених решительно воспротивился присутствию лишних свидетелей и любопытных зрителей, которым нравится посплетничать о женихе и невесте. А им было бы о чем пошептаться друг с другом: красивый господин хотя и рыцарски вежливо подвел к алтарю свою невесту, но не удостоил ее ни одним взглядом. Только раз, когда они преклонили колена, принимая благословение, казалось, глаза его на минуту остановились на невесте, на ее длинных густых косах, которые, подобно красновато-золотистым змеям, извиваясь вдоль ее платья, лежали на белых плитах пола.

И как торопился он по окончании обряда! Священник слишком долго говорил, а надо было непременно поспеть на следующий поезд... Дождь усилился, и монотонный звук капель, ударявших в пестрые стекла церковных окон, был единственной музыкой, сопровождавшей брачный обряд. Но под конец солнце проглянуло сквозь серые тучи и заискрилось разноцветными огнями в брызгах фонтана, осветило темную длинную аллею, высокую траву на лужайках, и под его теплым дыханием исчезли все серебристые росинки с цветов, нежный луч заиграл на львиных головах массивного серебряного сосуда со льдом, единственного представителя блестящего прошлого, стоявшего на столе в зале, где был приготовлен свадебный завтрак. Завтракали стоя. Сестры и брат ни к чему не прикоснулись и не принимали участия в общем разговоре. Они стояли вместе, разговаривая вполголоса, и граф Магнус с глазами, полными слез, держал руку Лианы – только в эту минуту, казалось, осознал он свою утрату.

– Юлиана, могу я просить тебя поторопиться? Пора ехать! – сказал вдруг барон Майнау, прерывая разговор.

Он подошел к своей молодой жене и указал ей на свои часы, ослепившие ее холодным блеском крупных бриллиантов. Она испуганно вздрогнула – в первый раз этот голос произнес ее имя; правда, барон говорил ласково, но как чуждо и холодно прозвучало оно в его устах!

Даже строгая и бездушная мать никогда так не называла ее... Она слегка поклонилась ему и всем присутствующим и в сопровождении Ульрики вышла из зала.

Молча и торопливо, будто преследуемые, поспешили сестры вверх, в свою общую комнату.

– Лиана, он страшен! – вскричала Ульрика, когда дверь за ними затворилась, и, заливаясь слезами, обыкновенно спокойная и невозмутимая девушка бросилась на диван и спрятала свое лицо в подушках.

– Тише, тише, не надрывай мне сердца! Разве ты ожидала чего-нибудь другого? Я – нет, – убеждала ее Лиана, и горькая улыбка мелькнула на ее побледневшем лице.

Она осторожно сняла с головы миртовый венок и положила его в ящик, где до сих пор хранились разные вещицы, напоминавшие об институтской жизни... Через несколько минут подвенечный наряд был заменен серым дорожным платьем и круглой шляпкой с густой вуалью, подвязанной у шеи бантом, а изящные ручки затянуты в перчатки.

– А теперь пройдем в последний раз к отцу, – сказала торопливо Лиана и взяла зонтик.

– Подожди еще минуту, – попросила Ульрика.

– Не задерживай меня, я не должна заставлять Майнау ждать, – серьезно произнесла Лиана.

Она обняла сестру и вместе с ней вышла из комнаты.

Так называемая мраморная галерея находилась в бельэтаже, как раз над террасой, примыкавшей к залу, где подавался свадебный завтрак.

В полумраке из-за прикрытых ставней сестры прошли ее всю и достигли противоположного конца, где дневной свет скупно просачивался сквозь узенькие щели ставней и бросал бледные полосы на блестящий, как зеркало, красивый мраморный пол. Ульрика бесшумно отворила ставень. Оставляя в тени все портреты красноволосях рыцарей, свет сосредоточился на изображении почтенного старика, сидевшего у темного бархатного занавеса, положив на стол полную белую руку. Отличительная черта рода Трахенбергов – огненно-рыжий цвет волос и усов – заменилась здесь необыкновенно мягким серебристым оттенком.

– Милый, милый папа! – прошептала Лиана, простирая к нему сложенные руки.

Она была его любимицей, его сокровищем, его гордостью; сонная головка девушки часто покоилась на его груди, и даже во время борьбы со смертью ее одну ласкала его холодеющая рука.

Сбоку виднелся другой портрет, на котором изображена была высокая, худая, застывшая женская фигура. Длинный шлейф ее платья был окаймлен горностаем, желтоватый цвет обнаженных плеч резко подчеркивал белизну меха, на взбитых волосах сверкала маленькая корона. То была бабушка Лианы по отцовской линии, тоже принцесса одного из мелких германских княжеств. Под туго стянутой шнуровкой билось сердце, которое ни разу в жизни не было согрето теплым чувством любви; ясные глаза безжалостно смотрели на внуку, с разбитым сердцем и слезами оставлявшую старый родовой замок, чтобы вступить в новую, блестящую и богатую жизнь. Сухая рука, державшая веер, осыпанный бриллиантами, простерта была в глубину зала, как будто, указывая на весь этот ряд портретов, бабушка хотела сказать: «Это все супружества по расчету со знаменитыми родами – призвание их не в любви, а в умении вечно властвовать...»

И новобрачной почудилось, как будто дрогнули уста предков и шепот пробежал по бесконечной галерее, но то был всего лишь сквозной ветер, ворвавшийся в отворенное окно. Внизу, на террасе, раздались торопливые мужские шаги и смолкли как раз под окном галереи. Сестры украдкой посмотрели вниз. Барон Майнау стоял вполоборота к перилам террасы и смотрел вдаль. Теперь он вовсе не походил на холодного, сдержанного жениха, так пунктуально и безукоризненно совершившего все формальности брачного обряда. Он, видимо, старался сбросить с себя все то, что хотя бы на короткое время принудило его гордую и пылкую натуру сыг-

рать шаблонную роль. Он, совершенно готовый к отъезду, курил сигару, голубоватый дымок которой поднимался до самой мраморной галереи.

– Я не говорю «красавица». Боже мой, это понятие весьма условно! – говорил его друг Рюдигер, высокий, мягкий голос которого уже раньше доносился отдельными звуками до сестер, теперь же ясно и отчетливо слышалось каждое его слово. – Конечно, у Лианы нет ни греческого, ни римского носа, да что до этого! Ее личико и без того чрезвычайно мило.

Барон Майнау пожал плечами.

– Гм, пожалуй, – сказал он непривычно насмешливым тоном, – скромная и добродетельная девочка робкого характера, с мечтательным выражением лица и светло-голубыми глазами а-ля Лавальер – чего же еще!

Он вдруг остановился и быстрым движением обвел рукой открывавшийся вид.

– Посмотри-ка лучше сюда, Рюдигер! У того, кто планировал Рюдисдорфский парк, была гениальная голова! Ничто не могло бы придать большего эффекта архитектуре в стиле ренессанс, как эти чудесные группы буковых деревьев.

– Да что об этом говорить! – отозвался Рюдигер. – Ты знаешь, что я в этом ничего не понимаю. То ли дело прекрасные глаза или прекрасные волосы женщины. Вот, например, что за чудные косы лежали сегодня пред алтарем, у твоих ног!

– Несколько полинявший оттенок трахенбергского фамильного цвета, – равнодушно отметил Майнау. – Пожалуй, тициановские волосы теперь в моде, и новейшие романы изобилуют рыжеволосыми героинями, и все они любимы... Впрочем, это дело вкуса. У моей возлюбленной подобное было бы немыслимым, но у жены...

Он стряхнул пепел сигары, постучав ею о перила, и спокойно продолжал курить.

Лиана инстинктивно скрыла свое лицо под густой вуалью; даже сестра, с невыразимой болью смотревшая вниз на говорившего, не должна была видеть краски стыда и унижения, залившей ее щеки.

Еще ниже, в цветнике, графиня Трахенберг прогуливалась с пастором. Завершив свой разговор с ним, она быстро подошла к террасе и стала неторопливо подниматься по ступеням.

– На одно слово, дорогой Рауль! – попросила она, взяв того за руку.

Медленно прохаживаясь с ним по террасе, болтала она об отвлеченных предметах, пока Рюдигер и пастор не отошли настолько, что не могли услышать ни одного ее слова.

– *À propos*, – сказала она, внезапно остановившись. – Ты не сочтешь меня нескромной за то, что взволнованное сердце матери побуждает меня в последнюю минуту затронуть несколько щекотливый вопрос... Могу я узнать, сколько ты назначаешь Лиане «на булавки»?

Сестры могли видеть, как насмешливо взглянул он на женщину с «взволнованным материнским сердцем».

– Столько же, сколько давал моей первой жене: три тысячи талеров.

Графиня одобрительно кивнула.

– О, она должна радоваться; я, выйдя замуж, столько не получала!

Майнау насмешливо улыбнулся ее глубокому вздоху, которым она сопровождала свое восклицание.

– Не правда ли, Рауль, ты будешь в какой-то мере добр к ней? – прибавила она с притворной озабоченностью.

– Что вы хотите этим сказать, тетушка? – Он, замедлив шаг, бросил на нее удивленный взгляд. – Разве вы считаете меня настолько бестактным, что допускаете, будто я могу забыть, что обязан оказывать уважение женщине, носящей мое имя? Но если вы требуете чего-нибудь большего, то это будет против нашего уговора. Мне нужна мать моему ребенку и хозяйка в моем доме, которая могла бы следить за порядком в мое отсутствие, поскольку я намерен надолго, очень надолго отлучиться. Все это вы знали, когда рекомендовали мне Юлиану как

кроткое и женственное существо, вполне соответствующее моим желаниям... Любить ее я не могу, но буду настолько добропорядочен, что не стану возбуждать любви и в ее сердце.

Заливаясь горькими слезами, Ульрика обняла сестру и прижала ее к своему сердцу.

– Бога ради, не раздражайся так, Рауль! – сказала струхнувшая графиня. – Ты совершенно не понял меня. Кто говорит о сентиментальностях? Уж я, конечно, менее всех думаю о них... Я только просила твоего снисхождения к ней. Ты сегодня сам видел, до чего может дойти эта «женственная натура», – сыграть такую шутку со своим подвенечным нарядом!

– Оставьте это, тетушка: в этом случае Юлиана могла действовать, как ей было угодно. Пусть и всегда так поступает, если только сумеет приспособливаться к обстоятельствам...

– За это я ручаюсь. Боже, невыразимо грустно признаться, но Магнус – колпак, человек без всякой энергии, нуль, и именно те качества, которые я в нем презираю, украшают его сестру. Лиана необыкновенно простодушное дитя, и, когда Ульрика, этот злой гений моей семьи, не будет иметь на нее влияния, ты сможешь вертеть ею, как захочешь.

– Мама очень быстра в своих суждениях, – сказала с горечью Лиана, когда шаги внизу стихли. – Она ни разу не потрудилась вникнуть в мою духовную жизнь – мы выросли на руках чужих людей... Но о чем ты плачешь, Ульрика? Мы не имеем права бросить камень в этого бездушного эгоиста. Разве я спрашивала свое сердце, когда отдавала ему руку? Я сказала «да» из страха перед мамой.

– И из любви ко мне и Магнусу, – добавила Ульрика еле слышно, как бы изнемогая от отчаяния. – Мы употребили все усилия, чтобы уговорить тебя; мы хотели спасти тебя от ада домашней жизни, не сомневаясь ни одной минуты, что тебя должны полюбить везде, куда бы ни забросила тебя судьба, а теперь, к несчастью, я вижу, что в любви тебе будет отказано. Ты, такая молодая...

– Молодая?... Ульрика, мне в будущем месяце исполнится двадцать один год; мы много горя пережили вместе, и я далеко не дитя по опыту, уже научилась правильно воспринимать жизнь... Не беспокойся обо мне, я не жажду любви Майнау и настолько горда, что не оставляю его в заблуждении на сей счет. Мой институтский аттестат, свидетельствующий о моих познаниях, особенно о моем знании языков, придает мне стойкости; сегодня не баронесса Майнау переезжает в Шенверт, а только воспитательница маленького Лео. Мне предстоит благородная миссия, и, может быть, я буду иметь возможность сделать доброе дело, а большего мне и не надо... Простимся теперь, Ульрика, оставайся здесь, подле отца, а мне пришлось время покинуть его дом!

Она несколько раз обняла сестру и, высвободившись из ее объятий, побежала по галерее к комнате матери; там у окна стоял Магнус и смотрел на подъехавшую к крыльцу карету.

В это время графиня шла по двору замка с Майнау, Рюдигером и пастором. Хорошо, что она не могла видеть, как ее сын, «колпак», «человек без всякой энергии», с горькими слезами обнимал сестру. В какой гнев привело бы ее это раздирающее душу прощание, которое так мало соответствовало его положению.

Опустив вуаль, Лиана твердым шагом сошла с лестницы.

– Ступай с Богом, и да сопутствует тебе мое благословение, дитя мое! – сказала графиня с театральным жестом и коснулась рукой головы дочери, потом приподняла вуаль и запечатлела на ее лбу холодный поцелуй.

Через несколько минут карета уже катилась по шоссе, ведущему к ближайшей станции железной дороги.

Глава 5

После четырехчасового пути путешественники въехали в столицу. Тут перед молодой женщиной предстала новая жизнь во всем своем очаровании. Для переезда в Шенверт, находившийся от столицы на расстоянии одного часа пути, был выслан необыкновенно изящный и роскошный экипаж, мягкие подушки которого, обитые белым атласом, явно должны были лелеять избалованную роскошью красавицу, а Лиана в своем простом сером дорожном платье скорее походила на дочь какого-нибудь угольщика, которую сказочный принц похитил в лесу, чтобы перевезти в свой замок.

Пока Рюдигер усаживался рядом с Лианой, Майнау вскочил на козлы и взял в руки вожжи. Он сидел с гордой небрежностью, а управляемые им лошади бешено неслись по широкому гладкому шоссе, прорезывавшему насквозь часть парка... Далее показался пруд, над рыбацьей деревней вилась целая стая белых голубей... Всюду было тихо и безлюдно. Но вот дорога свернула в лесную чащу, и только кое-где сквозь густую листву мелькал освещенный ярким солнцем красивый пейзаж. Вдруг впереди, шагах в пятидесяти от них, выехала из чащи дама в амазонке – казалось, она поджидала летевший по лесной дороге экипаж.

– Майнау, герцогиня! – крикнул Рюдигер, вскочив в испуге, но барон Майнау ловким движением уже сдержал чудных рысаков, и они пошли мерным шагом.

Из леса выехала еще одна дама в амазонке и последовала за герцогиней. Они быстро приближались. В эту минуту герцогиня походила на ангела смерти, скачущего на коне по бранному полю: длинная черная бархатная амазонка ее развевалась, черные с синеватым отливом волосы были собраны на затылке, а прекрасное лицо смертельно побледнело, и даже губы казались бескровными.

– Здравствуйте, барон Майнау! – приветствовала она возницу.

Майнау отвесил низкий поклон.

Сколько насмешки слышалось в этих словах, произнесенных медленно, звучным женским голосом! Сделала ли герцогиня неосторожное движение или лошадь ее испугалась чего-то, только вдруг она после бешеного прыжка понесла герцогиню прямо к подножке медленно проезжавшего экипажа.

– Сидите, Рюдигер! – сказала она поднявшемуся Рюдигеру, и, скользнув по нему, ее горящий взгляд с беспокойством попытался проникнуть сквозь густую вуаль, которая скрывала от нее лицо испуганной молодой женщины.

И сразу же обе наездницы понеслись дальше.

Несколько секунд лошади их бежали рядом, голова к голове, и молодая фрейлина, склонившись к герцогине, сказала бесцеремонно:

– Эта серая монахиня и в самом деле красноволосая Трахенберг, ваше высочество!

Шум колес заглушил ее слова, но барон Майнау, оглянувшись, заметил движение молодой фрейлины и улыбнулся. В первый раз увидела Лиана эту гордую улыбку торжества и удовлетворенного самолюбия; в первый раз при ней сверкнул в его глазах опасный огонь. В ту сторону, где сидела его жена, он даже не взглянул, но это равнодушие было так естественно и бессознательно, что даже его друг Рюдигер видел в нем лишь отсутствие напускного спокойствия, в которое Майнау любил драпироваться перед самыми блестящими женщинами высшего общества.

Серые рысаки еще неистовее понеслись по шоссе, как будто бледная герцогиня своим «здравствуйте» превратила в пламя кровь в жилах управлявшего ими Майнау. Молодая женщина следила за каждым его движением. Встреча в лесу вдруг пролила свет на некоторые обстоятельства – теперь она поняла, почему Майнау не мог любить ее.

Вот они выехали на опушку леса и стали спускаться в Шенвертскую долину мимо парка, многократно превосходившего герцогский парк. Он был огражден тонкой, как паутина, проволочной сеткой, а далеко, в глубине, точно из-за серого флера, поднимались величественные группы чужеземных растений. На гигантских кустарниках красовались пурпуровые цветы, точно нитка кораллов в зеленой морской волне. Далее целая стена мимоз лепилась к прозрачной решетке и доходила до вдруг открывшегося удивленному взгляду ярко раскрашенного индийского храма с золотыми куполами. Прозрачные воды большого пруда омывали его широкие мраморные ступени, а на переднем плане, повернув морду к проезжавшему мимо экипажу, пасся на ровно подстриженной травке породистый вол... Все показалось сном, перенесшим вас на мгновение под небо сказочной Индии. Но с окончанием решетки сон этот исчезал бесследно, тут опять шумели вековые липы, темные сосны простирали длинные ветви над покрытым клевером лугом.

Еще один поворот, и экипаж, оставив позади темные разросшиеся кусты можжевельника, покатился по ровному, усыпанному гравием двору и остановился прямо у подъезда Шенвертского замка.

Лакеи в парадных ливреях бросились к экипажу, а дворецкий в черном фраке и белом жилете откинул с низким поклоном подножку.

Несколько лет тому назад Лиана была невидимой свидетельницей того, как молодой лесничий, привезший свою молодую жену в Рюдисдорф, с восторгом принял ее из экипажа на руки и понес в свой дом; ее же муж, передав вожжи груму, холодно, хотя и очень любезно, взялся, едва прикасаясь, за ее правую руку и повел новую баронессу по широким ступеням Шенвертского замка.

Ей казалось, что она вошла в собор, так величественно вздымались своды над ее головой! И сходство это еще более усиливалось от света, проникавшего сквозь разноцветные стекла готических окон и отражавшегося на стенах, покрытых росписью духовного содержания. Здесь он освещал пурпуровое одеяние Богоматери, в другом месте – пальмовый венок над Святым Семейством; там, бросив косой луч на красную порфиновую стену, ложился на широкий, во всю лестницу, разостланный ковер, очень мягкий и плотно прилежавший к ступеням. Все это в совокупности усиливало впечатление и поддерживало характер церковного стиля – а именно византийского в его последнем периоде.

Не успел Майнау войти в вестибюль, как взгляд его с удивлением и гневом остановился на дворецком. С низким поклоном и не смея поднять глаза на своего повелителя, тот робко и в замешательстве прошептал в свое оправдание:

– Я не смел, господин барон не позволили что-либо брать из оранжереи, а гирлянды приказали снять в память покойной баронессы.

Яркий румянец вспыхнул на щеках барона Майнау. Испуганные лакеи поспешили бесшумно удалиться, только один злополучный дворецкий должен был оставаться на своем посту...

Но ожидаемая буря ограничилась на этот раз насмешливой улыбкой, мелькнувшей на губах красавца барона.

– Я осрамлен, Юлиана, – сказал он дрогнувшим от волнения голосом, – но здесь я бессилен. В Рюдисдорфе наша дорога была усыпана цветами, у нас же ничем подобным не отметили твой приезд. Извини дядю: эта высокочтимая им покойница была ему дочерью.

Он не дал Юлиане времени ответить. В сопровождении дворецкого и сокрушенно покачивавшего головой Рюдигера он быстро повел молодую женщину вверх по лестнице, а потом через парадные залы, к которым примыкала великолепная зеркальная галерея. Лиана видела себя под руку с высоким, горделиво шагающим бароном; по виду и манере они были парой, но какая неизмеримая пропасть лежала между ними! А ведь их союз, хотя и основанный на одном расчете, был только что освящен церковью! Дворецкий торжественно распахнул перед ними

обе половинки входной двери. У Лианы закружилась голова. Несмотря на толщину каменных стен и высокие своды, в галерее было душно и жарко. Палящие лучи июльского солнца падали прямо на незанавешенные многочисленные окна, а тут еще на противоположном конце зала топился камин. Пушистые ковры покрывали стены и пол и даже драпировали двери. Все было направлено на то, чтобы воздух извне не мог проникать сюда, и в этой удушливой атмосфере, напоенной вдобавок ароматами разных эссенций, сидел перед пылающим камином старик. Ноги его, завернутые в стеганое шелковое одеяло, казались безжизненными, между тем как верхняя часть туловища сохранила юношескую грацию и подвижность. Он был в черном фраке и белом галстуке. Маленькое умное лицо его было болезненно бледным, и эту бледность подчеркивало смешение золотисто-красного солнечного света с бледно-желтым светом топившегося камина. То был гофмаршал барон фон Майнау.

– Любезный дядюшка, позволь представить тебе мою молодую жену, – сказал Майнау довольно лаконично, между тем как Лиана подняла вуаль и поклонилась.

Маленькие карие глазки старика буквально впились в нее.

– Ты знаешь, любезный Рауль, – произнес он медленно, не отрывая глаз от покрасневшей Лианы, – что я не могу приветствовать эту молодую особу как твою жену, пока союз ваш не будет освящен нашей церковью.

– Ну, дядюшка, я только сию минуту узнал, что твое ханжество простирается так далеко, иначе я предусмотрел бы подобную встречу, – возмутился Майнау.

– Та-та-та, не горячись, любезный Рауль! О том, что касается веры, благородные натуры не спорят, – добродушно проговорил гофмаршал; очевидно, он побаивался гнева своего племянника. – Пока я приветствую ее как графиню Трахенберг... Вы носите знаменитое имя, графиня, – обратился он к Лиане.

При этих словах он протянул ей свою правую руку. Она заколебалась, боясь прикоснуться к этой бледной руке с несколько искривленными пальцами – она испытывала не то гнев, не то страх. Юлиана знала, что в этот же день ее брак будет повторно освящен по обряду католической церкви, поскольку Майнау были католиками, но то, что в этом доме не признавали действительным протестантский брак, освященный в Рюдисдорфе, поразило ее как громом.

Старый барон сделал вид, что не заметил ее колебаний, и вместо руки взял кончик одной из ее спустившихся кос.

– Посмотрите, что за прелесть! – сказал он любезно. – Можно не называть вашего знаменитого имени, ведь это отличало ваш род еще во времена крестовых походов!.. Природа не всегда так предупредительна, чтобы сохранить из рода в род отличительный фамильный признак, как у Габсбургов толстая нижняя губа, а у Трахенбергов рыжие волосы.

Сказав эту любезность, он принужденно улыбнулся.

Рюдигер между тем нетерпеливо покашливал, и Майнау быстро повернулся к окну. Там неподвижно стоял маленький Лео, устремив глаза на новую маму. Красивый мальчик небрежно опирался на великолепную леонардскую собаку, а в правой руке держал свой знаменитый хлыст. Эта группа вполне была достойна кисти художника или резца скульптора.

– Лео, подойди к милой маме, – велел Майнау до неузнаваемости изменившимся от волнения голосом.

Лиана не стала ждать, чтобы мальчик подошел к ней. В этой ужасной обстановке прекрасное детское личико, хотя и выражавшее враждебность и упрямство, показалось ей отрадой, лучом света. Она быстро подошла к ребенку, нагнулась и поцеловала его.

– Станешь ли ты хоть немного любить меня, Лео? – проговорила она умоляюще, и в ее голосе слышалось сдерживаемое рыдание.

Большие глаза мальчика с робким удивлением вглядывались в лицо новой матери, хлыст полетел на пол, и маленькие ручки крепко обвилились вокруг шеи молодой женщины.

– Да, мама, я буду любить тебя! – проговорил он со свойственной ему прямоотой и, посмотрев через ее плечо на отца, добавил почти сердито:

– Неправда, папа, она вовсе не похожа на жердь, и косы у нее не такие, как у нашей...

– Лео!.. Несносный мальчишка! – оборвал Майнау сына.

Он явно был смущен, тогда как старик старался скрыть улыбку. Рюдигер снова закашлял.

– Боже мой, да в чем же провинился этот несчастный? – оставил он вдруг свой дипломатический маневр и указал на темный угол комнаты: там перед креслом стоял на коленях, опустив голову, Габриель; его сложенные руки лежали на толстой книге.

– «Мсье» Лео был непослушен, а я ничем чувствительнее не могу наказать его, как наказав вместо него Габриеля, – спокойно сказал дядя.

– Как! Неужели козлы отпущения опять в моде в Шенверте?

– Хорошо, если б они никогда и не выходили из моды! Это было бы для нас всех лучше, – резко ответил гофмаршал.

– Встань, Габриель, – сказал Майнау, повернувшись спиной к дяде.

Мальчик встал, и Майнау с саркастической усмешкой взял толстый том с легендами, который должен был, по-видимому, читать бедный «козел отпущения».

Во время этой тягостной сцены вошел дворецкий. Он нес на серебряном подносе мороженое. Как ни был раздосадован старик, но при виде подноса с мороженым он устремил пылкий взгляд на изящно украшенные серебряные тарелочки и знаком позвал к себе дворецкого.

– Я проучу этого безмозглого повара, – проворчал он. – Такие горы самого дорогого фруктового мороженого!.. Да он с ума сошел?

– Так приказал молодой барон, – поспешил вполголоса пояснить дворецкий.

– Что такое? – поинтересовался Майнау.

Он бросил фолиант на стул и, нахмутив брови, подошел ближе.

– Ничего особенного, мой друг, – добродушно сказал дядя, искоса робко взглянув на племянника.

Он опять струсил и покраснел, как ребенок, несколько раз уличенный в одном и том же проступке.

– Пожалуйста, дорогая графиня, снимите вашу шляпку, – обратился он к молодой женщине, – и попробуйте этого ананасного мороженого! Вам не мешает освежиться после утомительного пути.

Лиана ласково погладила курчавую головку Лео и, расставаясь с ним, поцеловала его в лоб.

– Благодарю вас, господин гофмаршал, – сказала она очень спокойно. – Вы пока не признаете за мной ни имени Майнау, ни прав хозяйки дома, а графине Трахенберг приличия не позволяют находиться одной в мужской компании. Позволите ли просить вас указать мне комнату, куда я могла бы удалиться, чтобы подготовиться к повторному совершению брачного обряда?

Может быть, старику, опытному дипломату, никогда не приходилось слышать такого резкого ответа или он менее всего ожидал его от этой весьма скромно одетой и угнетенной финансовыми обстоятельствами молодой женщины, только глаза его широко раскрылись и всегда хитрое выражение лица сменилось совершенным недоумением...

Рюдигер злорадно потирал за его спиной руки, а Майнау с удивлением осматривался: неужели это сказала «скромная девочка с робким характером»?

– Э, да вы очень обидчивы, моя милая графиня! – заметил дядя после минутного замешательства.

Майнау подошел к своей молодой жене.

– Ты очень ошибаешься, Юлиана, если думаешь, что в Шенверте хоть кто-то не признает твоих прав как хозяйки дома, – сказал он, явно сдерживая себя: видно было, что это стоило ему определенных усилий. – Для меня вполне достаточно рюдисдорфского венчания, оно навсегда дало тебе мое имя. А что думают об этом в здешних стенах, тебя не должно смущать. Позволь мне проводить тебя в твои комнаты.

Он подал ей руку и, не обращая внимания на старика, увел ее из галереи. Он остановился и заговорил только на лестнице.

– Тебя оскорбили; поверь, что и мое самолюбие страдает из-за этого, – начал он гораздо спокойнее, чем говорил раньше. – Но я прошу тебя помнить, что моя первая жена была дочерью этого больного старика, его единственным ребенком. Второй жене поневоле придется быть предметом ревности родных покойницы. Я прошу тебя не принимать этого близко к сердцу, пока сила привычки не возьмет своего... Я не могу оставить Шенверт и поселиться с тобой в одном из других моих поместий главным образом потому, что, хотя Лео и необходима материнская забота, он должен здесь жить – я не могу отнять у деда его единственного внука.

Лиана молча продолжала спускаться по лестнице; она не имела сил говорить с этим черствым эгоистом, который, приковав ее к себе навсегда прочными цепями, не предупредил даже о тягостных обстоятельствах ее будущей жизни.

– Вы, конечно, поймете, что в данную минуту у меня нет более сильного желания, чем удалиться отсюда, – возразила она, указывая чрез отворенные ворота, мимо которых они проходили, на освещенные солнцем окрестности. – Но этому препятствует осознание, что мое возвращение в Рюдисдорф станет отрицанием неразрывности союза, освященного моей церковью...

– Тебе было бы довольно трудно привести в исполнение такое намерение, – перебив ее, ледяным тоном произнес Майнау, идя вдоль длинной колоннады, находившейся в нижнем этаже. – Я не считаю нужным уверять тебя, что не позволил бы безнаказанно компрометировать себя таким поступком... Венчание и развод, причем одно за другим! Гм! Да... сколько бы этот случай дал пищи «добрым» людям, которые, будучи богобоязненными, и без того уже отрешиваются от моих «странностей» и «эксцентричностей»! Я не против давать пищу их словоохотливости, почему же нет? Но на этот раз намерен избежать столь пикантного скандала.

Он отпустил ее руку и отворил дверь.

– Вот твои комнаты; осмотри хорошенько, все ли тут по твоему вкусу. Каждое твое желание, особенно относительно изменений, будет, разумеется, тотчас же беспрекословно исполнено.

Он вошел вслед за ней и окинул взглядом анфиладу комнат, убранных с изысканною роскошью, и полугневная-полунасмешливая улыбка мелькнула на его красиво очерченных губах.

– Тут жила Валерия, но не бойся, – сказал он своим обычным язвительно-насмешливым тоном, от которого «дамы трепетали, как овечки», – ее душа была слишком легка и воздушна, точно сотканная из дорогих кружев, в которые она любила рядить свое изнеженное тело. К тому же она постоянно парила на крыльях строжайшего благочестия, так что теперь она на небесах.

Он позвонил, и когда явилась горничная, представил ее новой госпоже. Сообщив затем Лиане, что через час зайдет за ней, чтобы идти к венцу, он, не дожидаясь ответа, удалился. В то же время горничная прошла в противоположную дверь, чтобы приготовить все для перемены туалета.

Глава 6

Лиана осталась одна среди незнакомой ей обстановки. В первую минуту она поддалась невольному чувству страха, пробежала по всем комнатам и проверила все двери. Нет, она не была пленницей, даже стеклянная дверь одной из комнат, ведущая в сад, не была заперта, и ничто не мешало ей спастись бегством из этого дома... Бежать? Да разве она не добровольно приехала сюда? Разве она не могла сказать «нет», несмотря на грозные взгляды гневливой матери и слезные мольбы брата и сестры? Она необдуманно поддалась страшному заблуждению, и виной этому была ее институтская жизнь. Большая часть ее институтских подруг, аристократок по рождению, не могли выбирать себе мужа: они были уже помолвлены по воле родителей и вскоре после выпуска выходили замуж. Одна из них, красивая молодая девушка, – Лиана знала об этом, – учась в институте, всей душой любила молодого бюргера, но, несмотря на это, беспрекословно вышла за знатного старика. Под влиянием таких примеров и убеждений, поддерживаемых, с одной стороны, матерью, а с другой – братом и сестрой, Лиана думала, что подобное решение вполне естественно. Магнус и Ульрика хотели спасти ее от домашнего ада, и она, позволив себя спасти, не имела ни малейшего права обвинять Майнау в обмане. К тому же в ее сердце не было ничего, кроме желания свято исполнять свои новые обязанности. Только теперь она прозрела. Юлиана осознала, что навсегда разлучилась с теми, кого любила, и ничто не могло возместить этой потери. И она должна была поддерживать холодные отношения с человеком, с которым ее судьба была связана навсегда, который не мог любить ее и менее всего желал, чтобы и она когда-нибудь полюбила его... Впереди долгая жизнь на чужбине, без малейшей надежды на чье-нибудь взаимопонимание и сочувствие!..

Она подняла глаза, и взгляд ее остановился на голубых волнах атласной драпировки потолка. Тут только увидела она, что все стены обиты той же блестящей материей, и она точно парила в голубом эфире...

Вспомнив, с какой горькой иронией Майнау говорил о своей покойной жене, Лиана невольно подумала, что если жившая тут женщина и была упрямым, избалованным ребенком, то могла, раскапризничавшись, без опасения топтать и в истерике броситься на пол – под ногами ее находился дорогой пушистый ковер, затканый нежными васильками. Во всем изящном и кокетливом будуаре не было видно ни полоски дерева или частички стены – везде, куда ни взглянешь, шелковая драпировка и мягкая мебель. Лиана отворила окно: эта покойница явно упивалась благоуханием жасмина – так сильно ощущался его аромат, и не только в воздухе, он исходил даже от дорогих кружевных гардин и тяжелых штор! Кто знает, не встрепенулась ли гневно «легкая, сотканная из кружев душа», улетевшая на небеса «на крыльях строжайшего благочестия», в ту минуту, когда вторая жена, отворивши окно, как бы вступала во владение этими покоями? Тихий голос, подобный жалобному стону, донесся до Лианы. Она затаила дыхание и прислушалась. Вошла горничная и доложила, что все готово для совершения ее туалета.

– Что это такое? – спросила молодая женщина, переступая порог смежной комнаты, когда тот же таинственный звук снова уловил ее слух.

Теперь она не сомневалась, что он доносился из окна.

– Там, напротив, на дереве висят эоловы арфы, баронесса, – ответила горничная.

Лиана посмотрела в окно и покачала головой.

– Но нет ни малейшего ветерка!

– А может быть, этот звук доносится оттуда, где уже несколько лет лежит больная женщина, – предположила девушка, указывая на видневшуюся вдали проволочную ограду, за которой возвышался обелиск красноватого цвета. – Я этого не знаю наверняка, я сама всего дней восемь как в Шенверте... Конечно, людям до этого дела нет, только в кухне говорили, что эту

женщину содержат здесь из милости. Это ужасно! Говорят, что она некрещеная... Я не хожу за ограду – боюсь большого страшного турецкого вола, что там бродит, а по всем деревьям прыгают обезьяны, эти отвратительные животные! Фи!

Лиана молча прошла в соседнюю комнату и беспрекословно отдала себя в распоряжение проворной и словоохотливой горничной. Теперь на ней было роскошное платье из дорогой, затканной серебром материи, и когда через полчаса ее увидел Майнау, пришедший за ней в голубой будуар, он невольно отступил... Эта «жердь» умела носить платья со шлейфом, и у этой «жерди» были античные руки и плечи, которыми она не щеголяла только в силу полного отсутствия кокетства и присущей ей скромности, заставлявших ее скрывать их под строгим платьем... На роскошных, изящно причесанных рыжеватых волосах лежал венок из флердоранжа, который будто сверкал на голубом фоне стен, точно был обрызган золотистой росой.

– Благодарю тебя, Юлиана, что ты отказалась от любимой тобой простоты и в моем доме выглядишь так, как требует того твое положение, – сказал он ласково, однако не скрывая своего изумления.

Она подняла темные ресницы, и не светло-голубые глаза а-ля Лавальер, а большие серо-голубые звездочки, полные ума и серьезной строгости, пристально посмотрели на него.

– Не думайте обо мне слишком хорошо! – сказала она; у нее не хватало мужества так свободно говорить ему «ты», как это удавалось ему. – Не из скромности оделась я так просто в Рюдисдорфе к венцу – назовите это гордостью, высокомерием, как вам угодно... Я очень хорошо знаю, что многие женщины из рюдисдорфской мраморной галереи носили порфиру и шлейфы, и я имею на это право, которое навсегда останется за мной... Но потому-то я и не могла надеть на себя этот дорогой подарок, – тут она указала на белое, затканное серебром платье, – в родительском доме, в котором мне не принадлежит теперь ни одного камня. Я боялась, чтобы шелест его не разбудил моих славных предков, дремлющих в фамильном склепе возле алтаря, а теперь-то именно им и нужно спать непробудным сном... Здесь я – представительница вашего имени, ему и приличествует ваш подарок.

Майнау закусил губу. С неприятным чувством, удивлением и чуть ли не с гневом смотрел он попеременно то на спокойно говорившие уста, то на смело глядевшие на него глаза.

– Да, но если бы Трахенберги и пробудились, то остались бы довольны, – наконец проговорил он, саркастически улыбаясь. – Их всему свету известная фамильная гордость еще жива и умеет заявить о себе. Это, наверное, вознаградило бы их за потерю состояния, о которой ты напомнила.

Лиана ни слова не сказала ему на это, но медленно и величественно прошла в дверь, которую он отворил перед ней с низким, слегка ироничным поклоном. Сопровождая ее теперь, Майнау точно переродился: он не походил на того светского человека, который вел ее в рюдисдорфскую церковь, словно к обеденному столу; не таким он был и в лесу, когда управлял бешеными лошадьми и следил торжествующим взглядом за удалявшейся бледной герцогиней, – в эту минуту происходила в нем та же борьба, которую незадолго до этого пережила его молодая жена. Он глубоко раскаивался в сделанном им важном шаге, на который решился, поверив обещанию графини, что он обретет в Лиане такую жену, из которой может делать все, что захочет... Еще было время, еще его Церковь не осветила их союз... Вдруг шелест ее длинного тяжелого шлейфа затих. Лиана остановилась и высвободила свою руку из-под его руки; он тоже принужден был остановиться и с удивлением посмотрел на нее. Один взгляд на ее побледневшее лицо объяснил ему, что происходило в ней; с выразительной насмешливой улыбкой взял он ее снова под руку и пошел вперед мимо парадно одетой замковой прислуги, выстроившейся в шеренгу перед церковною дверью... Значит, его решение было непоколебимо, и она пошла далее, но уже не как овечка, обреченная на заклятие: гордая бабушка в зале ее предков могла бы теперь порадоваться величественным манерам своей внучки, по спокойному лицу которой нельзя было догадаться, как трепетно бьется ее сердце.

С каким блеском был выведен здесь на сцену обман! В самые счастливые дни рюдисдорфского великолепия не видала Лиана такого богатого убранства алтаря; тысячи огней горели в люстрах, и вся оранжерея, из которой больной старик не позволил взять ни одного цветка, когда встречали новую госпожу, перенесена была сюда для придания большей торжественности священнодействию. Среди этого леса диковинных растений, покрытых чудными цветами, и тысяч зажженных свечей клубились облака фимиама в золотистых лучах заходящего солнца, проникающих сквозь высокие готические церковные окна. Как сквозь туман, видала Лиана лица множества присутствующих, в стороне – пунцовое одеяло и лежащие на нем бледные сложенные руки гофмаршала и великолепное облачение священника. Строгий и величественный, стоял он на ступенях алтаря. Юлиана невольно содрогнулась, приблизившись к нему: точно огненный поток лился из глаз этого человека, и глубокий пронизательный взгляд его встретился со взглядом ее широко открытых глаз. Только после ее испуганного движения его взгляд обратился к небу, и над ее головой раздался звучный, потрясающий до глубины души голос. Священник говорил о вечной любви и преданности – какое кощунство! Безыскусные слова рюдисдорфского пастора успокоили было ее, эта же восторженная речь придворного проповедника пролила яркий свет на притворство и ложь, под прикрытием которых совершался этот союз, и каждое слово проповеди, как острый нож, входило в самое сердце. Молодая женщина трепетала перед этим священником, огненный взгляд которого не отрывался от нее, и, сама не зная зачем, она вдруг прикрыла подвенечной вуалью грудь и плечи.

Но вот кончился и этот день, самый тягостный и роковой во всей ее жизни. Настала давно желанная минута, когда она могла запереть двери отведенных для нее комнат, отделявших ее от всех обитателей замка. Отпустив горничную и сняв свой подвенечный наряд, она надела белый пеньюар. Спать Юлиана не могла – она страдала от одиночества, тосковала по своим близким, ей страстно хотелось увидеть, подержать в руках хотя бы какой-нибудь предмет, привезенный с собой... Нервно, дрожащими руками открыла она маленький сундучок, поставленный в зале по ее указанию. Сверху лежала тетрадь с латинскими сочинениями, написанными ею. Она невольно вздрогнула и бросила робкий взгляд на большой портрет, висевший напротив, – это был он, этот красавец с загадочным лицом, на котором постоянно чередовались огонь страстей и ледяной холод, выражение душевной доброты и язвительной насмешливости! Эти противоречия ужасали ее. Она торопливо свернула рукопись: даже эти нарисованные на портрете глаза не должны были видеть написанного ею.

«Майнау вытрясет из тебя твои ученые бредни!» – припомнились ей слова графини Трахенберг.

Не далее как сегодня за ужином, рассуждая об эмансипации женщин, Майнау с презрением заявил, что не знает, какая женщина более заслуживает осуждения – та ли, которая не исполняет своих материнских обязанностей, кокетничая и предаваясь удовольствиям, или та, которая выгоняет из своей комнаты детей, чтобы сочинять стихи или писать ученые статьи. Видите ли, чернильное пятно на руке женщины для него несноснее дурного обеда.

Она подошла к письменному столу, чтобы спрятать в нем от посторонних глаз этих немых свидетелей своей прежней духовной деятельности. Стол был сделан из розового дерева – самое совершенное произведение, когда-либо выходившее из-под руки художника. Каким мыслям предавалась, сидя тут, умершая с ее воздушной, беспокойной душой? Столешница чуть ли не гнулась под тяжестью дорогих безделушек и статуэток, которые все как одна были более или менее легкомысленные, а отнюдь не благочестивые. Лиана с трудом выдвинула один из ящиков стола – он был доверху наполнен свертками с золотыми монетами; очевидно, то были деньги, назначенные ей «на булавки». С испугом задвинула она ящик и заперла его на ключ. Это открытие и душный воздух, пропитанный запахом жасмина, побудили ее выйти в соседнюю комнату и отворить стеклянную дверь в сад. Из-за опущенных гардин Лиана не знала, что на безоблачном небе ярко светит полная луна. Она невольно отступила – таким ослепительным, таким

необыкновенным показался ей этот Шенверт, окруженный скалистыми горами с остроконечными вершинами. Частично эти горы были покрыты чудным вековым лесом... Казалось, что они, подобно драконам с оскаленными зубами, окружив Шенверт, стерегли это сокровище... Юлиана вышла на веранду, крышу которой поддерживали колонны. Какой резкий контраст представляло собой новейшее убранство комнат и сероватые от времени колонны, гордо поднимавшиеся в своей строгой красоте и облитые теперь лунным светом. Не чувствовалось ни малейшего ветерка, хотя выше, вероятно, было движение воздуха, потому что эоловы арфы издавали по временам тихий трепетный звук.

Среди этой торжественной тишины ночного часа вдруг послышались приближающиеся шаги. Испуганная Лиана спряталась в тень за колонну, и в ту же минуту из-за северного угла дома выбежал ребенок; это был Лео. На босых ногах его были туфли. Наскоро надетые зеленые бархатные панталоны он поддерживал обеими руками, а ночная рубашка, обшитая кружевами, была расстегнута и спускалась с плеч... Ребенок робко осмотрелся и побежал еще быстрее к проволочной ограде. Лиана, неслышно шагая, следовала за ним.

– Что ты тут делаешь, Лео? – спросила она, удерживая его.

Он испуганно вскрикнул.

– Ах, новая мама! – сказал он уже спокойнее. – Ты скажешь об этом дедушке?

– Если ты намерен поступить дурно, то конечно.

– Нет, мама, – заверил он ее, тряхнув локонами. – Я только хочу дать Габриелю эти шоколадные фигуры – я не сам взял их, право, мама! Господин Рюдигер положил их мне за ужином на тарелку. Я всегда прячу их для Габриеля, но наутро не нахожу уже их в кармане: фрейлейн Бергер очень любит их, она целый день жует и всюду шарит, противная...

– Да где же эта фрейлейн Бергер? – спросила Лиана.

Наставница была представлена ей после свадьбы и произвела на нее очень благоприятное впечатление.

– Она играет в фанты в классной комнате и не позволяет мне входить туда – она заперла дверь, – проворчал Лео. – Они там ужасно шумят и пьют пунш; я слышу это сквозь замочную скважину... Я сегодня совсем не видел Габриеля, потому что худо вел себя, но покойной ночи я ведь могу пожелать ему? – проговорил он с обычным для него упрямством. – Могу я, мама? Да, могу?

Он просил хотя и настойчиво, но с полным доверием ребенка к матери. Радостно встрепенулось сердце молодой женщины: этот упрямый ребенок с первой минуты добровольно подчинился ее материнскому авторитету, и луч счастья проник в ее изболевшуюся, опечаленную душу. Она обняла мальчика и нежно поцеловала его.

– Дай мне конфеты, Лео. Я сама отнесу их Габриелю. Ты должен теперь лечь спать, – сказала она и протянула руку. – Я передам ему от тебя «покойной ночи». Но где я найду его?

Лео охотно вывернул карманы и высыпал конфеты в красивые руки матери. Она улыбнулась: такого шоколадного изобилия нельзя было показать деду. Выговор, сделанный за фруктовое мороженое, не ускользнул от ее тонкого слуха.

– Ты должна идти туда, мимо пруда, – объяснил мальчик, указывая на проволочную ограду. – Но только в дом нельзя входить, дедушка это строго запретил, а фрейлейн Бергер говорит, что там живет колдунья с длинными зубами. Конечно, это глупости, и я не боюсь. Ведь не кусает же она Габриеля?

Молодая мать застегнула рубашечку Лео и повела его за руку обратно в замок... У потолка была подвешена лампа с зеленым граненым стеклом, освещавшая магическим светом спальню ребенка. Постель царственного дитяти не могла бы быть роскошнее и изящнее постели этого потомка Майнау. Но, несмотря на всю окружающую его роскошь, на шелковый полог, на дорогие кружева и шитье, украшавшие подушки и простыни малютки, бедному ребенку не доставало нежной заботы... Его сна не охраняла добрая любящая рука, хотя бронзовый ангел

и поддерживал шелковые складки полога и простирали над ним свои блестящие золотые крылышки...

Из соседней классной комнаты доносились веселый хохот и звон стаканов. Лиане казалось, что душа умершей матери должна, грозная, витать здесь и чертить на стене «*Mene, Tekel...*»⁹ забывшей свои обязанности наставнице.

– Мама, – сказал ребенок робко и торопливо, лаская ее своими маленькими ручками, в то время как она заботливо укрывала его одеялом, – как хорошо, когда ты здесь! Ты всегда будешь приходить? Первая мама никогда не приходила к моей кровати... А ты и правда пойдешь к Габриелю и отнесешь ему от меня шоколад?

Лиана пообещала. Успокоенный ребенок склонил свою головку на подушку, и минут через пять его ровное дыхание показало Лиане, что он уже заснул. Неслышным шагом вышла Лиана из комнаты и заперла снаружи дверь, в которую он выбежал.

⁹ Сочтено, взвешено... (арам.). Дан. 5:25–29.

Глава 7

Пробило половину одиннадцатого, когда Лиана снова вышла в цветник, расположенный перед окнами ее комнат. Вдали виднелась проволоочная ограда. «Козел отпущения», как называл сегодня Рюдигер бледного молчаливого мальчика, вероятно, уже давно спал, но не он был главной причиной снедавшего молодую женщину непреодолимого желания отправиться к таинственному убежищу. Обернувшись, она внимательно осмотрела старинный замок, который в своем строгом великолепии, с массивными сводами, с резными листочками клевера, украшавшими сводчатые окна, и с фигурой покровителя рода на выступе фасада, величественно возвышался наподобие аббатства, облитый серебристым светом луны. Все окна были темны, только из нижнего зала пробивался свет лампы в темноту колоннад... Ей показалось, что, прислонившись к одной из колонн, неподвижно стоял какой-то человек и пристально смотрел в полуотворенную дверь – воображение! Ни одним движением не выдал он своего присутствия. То, вероятно, была тень, падающая от колонны.

Молодая женщина с сильно бьющимся сердцем шла по узкой песчаной тропинке, головы ее касались нижние ветви орешника и можжевельника; но вот затворилась за ней калитка в ограде, и характер растительности изменился: на мягкой зеленой мураве поднимался могучий индийский банан, широкие листья которого бросали на траву гигантскую тень. Потом тропинка нырнула в густой кустарник. Кругом искрились мириады светлячков; наверху, в ветвях, раздавался шорох; оторванная ветка упала на плечо молодой женщины. Справа и слева к ней протягивали свои маленькие лапки обезьяны; эти существа с лукавыми мордочками с любопытством заглядывали ей в лицо. Она невольно провела рукой по лбу, как бы желая освободиться от тяжелого сна. А что, если из темной зелени высунется голова пестрой змеи с открытой пастью или выступит неуклюжий исполин слон, чтобы растоптать ее своими мощными ногами? Она, насторожившись, остановилась, но из куста выпорхнула только испуганная цесарка, а через несколько шагов расступились кусты и деревья, и ей открылась неподвижная, как зеркало, поверхность пруда. Золотые купола индийского храма величественно поднимались к небу, его мраморные ступени как будто вели к священным водам Ганга, а не к пруду посреди немецкой долины.

Тяжело дыша от невольного страха, который вызывает в нас одиночество в неизвестной местности и вопреки которому неудержимо влечет нас вперед, Лиана медленно обошла пруд, не подозревая, что белая одежда ее, стройная фигура и роскошные золотые волосы, отражаясь в поверхности пруда, придали какое-то особенное очарование этому своеобразному пейзажу. Она не подозревала также, что, когда затворилась за ней калитка, виденная ею тень отделилась от колонны и неслышно последовала за ней, как будто золотистые косы, сбегавшие вдоль ее спины и блескующие в лунном свете каким-то фосфорическим блеском, обладали магнетизмом, с непреодолимой силой увлекавшим за собой эту тень.

Показались белые стены низенького домика; вокруг него вилась песчаная дорожка, и весь он утопал в кустах роз чудных сортов. Тут цвели и благоухали карликовые и штамбовые розы, а с обеих сторон на дорожку склоняли ветки чайные розы под тяжестью бледных цветов, точно убаюканных кротким светом луны. С виду этот домик был таким легким, что, казалось, его снесет первый сильный порыв ветра вместе с тростниковой крышей и бамбуковыми столбиками веранды. Окна были большими, их защищали точеные деревянные решетки.

С опаской ступила молодая женщина на низенькую ступеньку веранды, пол которой был устлан циновками из пальмовой коры; они были такими гладкими, блестящими и свежими, как будто предназначались для охлаждения ног утомленного зноем индийца. Сквозь решетку окна пробивался свет лампы, подвешенной к потолку; штора из пестрой плетенки опускалась

до того места, где был сердцеобразный вырез в деревянной решетке. Через это-то отверстие Лиана могла увидеть большую часть комнаты.

У противоположной стены стояла кровать из тростника. На белых как снег простынях лежало необыкновенно нежное существо, лицом уткнувшееся в подушки, и потому трудно было понять, женщина это или ребенок. Мягкие складки белого кисейного одеяния почти полностью прикрывали ноги, чрезвычайно маленькие и мертвенно-бледные. Обнаженная до самого плеча, худая и тонкая, как у тринадцатилетнего ребенка, рука тяжело свесилась с кровати, широкие блестящие золотые браслеты охватывали запястье и руку повыше локтя и производили неприятное впечатление: казалось, они раздражают эту нежную кожу... Высокая, крепкого сложения женщина, стоявшая у кровати с серебряной ложкой в руке и упрямившаяся лежащую, стараясь придать своему грубому голосу мягкие интонации, была знакома Лиане – ее представили ей после брачного обряда как госпожу Лен, ключницу замка.

Ложка, которую женщина старалась держать подальше от своего чистого и нарядного фартука, конечно, была наполнена лекарством и приводила в ужас больную. Как ни уговаривала ее женщина, как ни гладила ласково по голове свободной рукой, больная не уступала.

– Не могу ничего сделать, Габриель, – сказала наконец Лен, повернувшись к той части комнаты, которую Лиана не могла видеть. – Ты должен поддержать ей голову... Ей во что бы то ни стало нужно уснуть, дитя мое.

Бледный мальчик, «козел отпущения» Лео, подошел ближе и осторожно попробовал просунуть руку между подушкой и лицом больной. При этом движении больная с ужасом подняла голову, и Лиана увидела худенькое, бледное, но вместе с тем прекрасное лицо. Лиану до глубины души потряс выразительный взгляд необыкновенно больших глаз, с мягким упреком и мольбою смотревших на мальчика. Мальчик отступил на шаг и опустил руки.

– Нет, нет, я ничего не сделаю тебе! – сказал он, и в его нежном голосе было столько горя и сострадания! – Не могу, Лен, ей больно!.. Лучше я усыплю ее песнями.

– В таком случае ты будешь петь до утра, – возразила Лен. – Когда ей так нехорошо, как сегодня, песнями ее не усыпишь, и ты это сам знаешь.

Она пожала плечами, но, видно, не имела духу принудить Габриеля помочь ей. Какое мягкое сердце билось в груди у этой, по-видимому, грубоватой женщины с резкими чертами лица, которая выглядела угрюмой и неприступной во время представления ее новой госпоже!

Лиана отворила дверь, находившуюся между двух окон, и вошла в комнату. Ключница испуганно вскрикнула и чуть не пролила лекарство.

– Подержите больную, – сказала Лиана, – я дам ей лекарство.

Внезапное появление стройной молодой женщины в белой одежде с аристократическими манерами буквально парализовало больную – она, не шевелясь, а только пристально глядя в склонившееся над ней миловидное лицо молодой женщины, беспрекословно приняла лекарство.

– Вот и все, мой милый, – сказала Лиана и положила ложку на стол. – Боль утихнет, и она заснет.

Лиана нежно погладила темную головку Габриеля.

– Ты, верно, очень любишь ее?

– Она моя мать, – с неизъяснимой нежностью ответил мальчик.

– Это бедные люди, баронесса, очень бедные, – вмешалась ключница.

Ни в голосе, ни в лице ее не было и тени той нежности и сочувствия, которыми несколько минут назад дышало все ее существо.

– Бедные? – переспросила молодая женщина и невольно указала на блестящие браслеты на руках, на дорогие ожерелья на груди больной, которая до сих пор не отводила своего восторженного взора от Лианы.

Теперь на ее лице читались страх и беспокойство, и она судорожно сжала левой рукой какой-то предмет, висевший на одной ниточке, по-видимому, серебряный флакон.

– Ну, ну, успокойся! Баронесса ничего у тебя не отнимет! – проговорила Лен резким и повелительным тоном. – Они бедны, баронесса, – снова обратилась она к Лиане. – Эти бездельюшки ведь не прокормят, – она указала на украшения, – да, в сущности, они ей и не принадлежат, и старый господин гофмаршал мог бы отнять их, если бы захотел. У нее нет никого и ничего на свете, и если она и мальчик получают здесь, в замке, приют и пропитание, так это исключительно из милости.

Поясняла она с такой беспощадностью, что у Лианы болезненно сжалось сердце, особенно когда Габриель, нагнувшись над матерью, осыпал ее нежными ласками – так беззащитного ребенка пытаются заставить забыть о причиненном ему горе... Прекрасная головка мальчика задумчиво склонилась набок. Его лицо со скорбными складками возле губ несло отпечаток терпения и рабского послушания, выработавшихся вследствие постоянных притеснений. Лиана могла бы спросить: кто эта необыкновенная женщина и как она попала сюда с ребенком, осужденным расти под таким страшным гнетом? Но страх снова услышать беспощадные объяснения ключницы заставил ее удовлетвориться тем, что ей уже стало известно. Она выложила из кармана на стол шоколадные фигуры.

– Это Лео передал тебе, – сказала она. – А еще я пришла сказать тебе от него «покойной ночи».

– Он добрый, и я люблю его, – отозвался мальчик, и губы его растянулись в привычной меланхолической улыбке.

– Это замечательно, дитя мое, но ты не должен более терпеть наказание за его шалости.

Она взяла его за подбородок и, приподняв головку, с любовью заглянула в его невинные глазки.

– Неужели у тебя хватает мужества всегда молча сносить несправедливость? – спросила она серьезно.

Некрасивое лицо ключницы вспыхнуло; она, видимо, с минуту боролась с охватившим ее чувством умиления, но только одну минуту, а затем, глядя испытующе на свою госпожу, она сказала еще более резким тоном:

– Габриелю, баронесса, это вовсе не вредит, и если к нему несправедливы в замке, то он должен благодарить и за это и целовать руку, которая его карает... Он будет монахом, пойдет в монастырь, а там надо на всякую обиду молчать, как бы ни кипело гневом сердце... Маленького барона Лео он должен любить, ведь это он выпрашивает у гофмаршала позволения оставаться ему здесь, а то Габриеля давно бы разлучили с матерью.

Глаза мальчика наполнились слезами.

– Ты должен стать монахом? Тебя принуждают к этому, Габриель? – быстро спросила Лиана.

– Говори правду, сын мой, кто принуждает тебя? – раздался сзади голос придворного священника, совершившего сегодня брачный обряд.

Он стоял на пороге отворенной двери, и темная фигура его резко выделялась на фоне облитых лунным светом розовых кустов. При виде его Лиана невольно вспомнила о тени, виденной ею у колонны: значит, это он следил за ней.

Лен присела, а священник с изящным поклоном, улыбаясь, вошел в комнату и сказал:

– Успокойтесь, баронесса, мы здесь, в Шенверте, совсем не так жестоки, как можно подумать. Мы не позволяем себе таких возмутительных насилий, о которых повествуется легковесному свету в сказке о мальчике Мортаро, не так ли, дитя мое?

Он ласково положил свою тонкую белую руку на плечо Габриеля. Если бы не длинная монашеская одежда и не тонзура, белым пятном выделявшаяся на темной кудрявой голове его, никто не принял бы этого человека за духовное лицо. Ни тени той величавой медлительности

в движениях, в которой нередко есть нечто заученное, театральное, ни малейшего умиления в тоне! Да и сегодня за столом, во время жаркого политического спора, его металлический голос звучал вызовом, подобно боевому кличу.

При его появлении больная снова уткнулась лицом в подушки и притихла, будто уснула; она походила на испуганную, дрожащую птичку, старающуюся укрыться от рук ловца.

– Что с ней опять сегодня? – спросил священник. – Она очень беспокойна – я даже в ризнице слышал ее стоны.

– Ваше преподобие, герцогиня опять проезжала сегодня мимо дома, а после этого, как вам известно, ей всегда бывает хуже, – ответила ключница почтительно, но с плохо скрытой досадой.

На губах священника мелькнула насмешливая улыбка.

– Но она должна привыкнуть к этому. – Он пожал плечами. – Герцогиня, конечно же, не откажется от своих прогулок по «Кашмирской долине» ради этой несчастной, да и у кого достало бы мужества требовать от нее подобной жертвы?

Он подошел ближе к кровати; больная содрогнулась.

– При всей вашей строгости, вы, верно, слишком снисходительны к больной, добрейшая г-жа Лен, – сказал он. – К чему эти тяжелые браслеты на разбитых параличом членах? К чему эти ожерелья на груди?

– Она умерла бы, ваше преподобие, если бы я лишила ее этих вещей, – сказала Лен сквозь зубы, с какой-то особой торопливостью, и ее маленькие, глубоко посаженные глаза сверкнули.

– Вы не правы: она так слаба, так изнурена, что едва дышит. Эта тяжесть при ее беспомощности вредит ей больше, нежели вы думаете... Подойдите сюда, давайте попробуем!

Теперь больная повернулась к ним лицом и широко открыла глаза, они были полны ужаса. Прижав к груди левую руку, она испустила тот же жалобный стон, какой Лиана слышала днем в своей комнате. Лен стала между кроватью и священником и положила свою широкую костлявую руку на маленькую, судорожно сжатую руку больной.

– Ваше преподобие, смею просить вас оставить все как есть! – обратилась она к священнику резко и решительно. – Это ведь и меня касается!.. Если вы растревожите ее, кому придется не спать ночей? Все мне, несчастной... Я могла бы избежать этого, конечно, могла бы жить спокойно, как прочие люди в замке, которые ни за какие блага не придут сюда... И я делаю это вовсе не из любви или сострадания – я не из числа мягкосердечных и не хочу казаться лучше, чем я есть на самом деле... Да и какое мне до нее дело! – продолжала она спокойнее, но с досадой. – Если я здесь прислуживаю, так только из благодарности и преданности моим господам, которые меня кормят.

– Ах, вот почему вы хлопочете! – произнес священник, с улыбкой покачав головой. – Но кто же сомневается в вашей верности и в вашем бескорыстии? Пусть останутся у больной ее игрушки, я не хочу добавлять вам хлопот.

Во время этого разговора Лиана незаметно вышла. Эти люди произвели на нее такое тяжелое впечатление, что она почувствовала потребность снова видеть чистое звездное небо над головой, снова дышать свежим ночным воздухом, слышать шум своих шагов по песчаной тропинке, чтобы убедиться, что она не находится во власти фантастического сна. Все виденное ею казалось картиной, полной анахронизмов; странное худенькое существо лежало на кровати, окутанное облаком белой кисеи, в тяжелых золотых украшениях, подобно индийской принцессе, и с этой суровой женщиной с ее простонародным немецким говором, туго накрахмаленным фартуком, роговым гребнем в седой косе представляло почти невероятную противоположность!

Воздух был насыщен опьяняющим ароматом множества роз. Легкий ветерок играл в их листве и, пробираясь сквозь освещенную луной чашу, разносил по саду тихие звуки эоловых

арф. Молодая женщина невольно приложила похолодевшие руки к вискам, где сильно пульсировала кровь, и сошла с веранды.

– «Кашмирская долина» – рай, который не умели понять первые люди и закрыли доступ к нему для всех нас, – сказал последовавший за ней священник и пошел рядом. – Большинство ищет его и, согласно проклятию, минует, не замечая. Аскет добровольно и сурово отказывается от него на всю жизнь, насмехаясь над всеми его радостями, пока не грянет гром, и повязка не спадет с его глаз, и он не поймет, что был глуп; только тогда он познает, что не наследовал проклятия, а сам своей дерзостью призвал его на свою голову.

Его голос был глух, как будто знойная июльская ночь душила его.

Лиана остановилась и взглянула на неправильные, но выразительные черты лица священника; она хотела ответить, как вдруг кровь бросилась ей в лицо и залила даже белые нежные виски ее, а большие умные глаза стали холодны как сталь, как бы противясь огненному взгляду этого человека. Чувствуя на себе его пламенный взор, она не решилась поддержать такой волнующий душу разговор. Преодолев свое смущение, она очень холодно ответила:

– После таких стонов, какие я сейчас слышала, я не могу думать о рае... Кто эта несчастная женщина?

Лицо священника разом побелело. Он с видимым раздражением посмотрел искоса на молодую женщину, сделавшуюся так неожиданно неприступной после одного только гордого поворота своей хорошенькой головки. Это была графиня Трахенберг, вполне достойная своих славных предков.

– А как воспримет ваша гордость то, что Шенверт служит приютом потерянной женщине? – сказал он резковато и с иронией. – Нет ничего непреклоннее гордой своей добродетелью женщины, она счастлива! Но горе тем, которых увлекает пылкое сердце!.. Я видел этот целомудренно-холодный, осуждающий женский взгляд, он пронзает как нож!

Что за речи в устах священника! Он повернулся и указал на дом с тростниковой крышей, который почти скрывали уже розовые кусты.

– Разве можно поверить, что это разбитое параличом существо, рук и ног которого уже коснулась смерть, танцевало когда-то на улицах Бенареса? Она была баядеркой, эта бедная индийская девушка, и один из Майнау увез ее за море... Ради нее создали эту так называемую «Кашмирскую долину» под немецким небом. Тратились тысячи, чтобы только вызвать на ее устах улыбку и заставить ее забыть небо отчизны.

– А теперь ее из милости кормят в Шенверте и отдали под опеку суровой женщины, – проговорила глубоко взволнованная Лиана. – А ребенка ее всячески притесняют...

– Ввиду только вашего интереса осмелюсь просить вас не высказываться так резко в присутствии гофмаршала, – прервал ее священник. – То был его брат, который своими любовными похождениями вызвал негодование света. Он давно уже умер, но и теперь, когда заходит речь об этом, старик выходит из себя. Он ревностный католик.

– Но его строгая вера не дает ему права угнетать бедного невинного мальчика, чему я сама была свидетельницей, – заметила неумолимая Лиана.

В это время они вошли в заросли; молодая женщина не могла видеть лица своего спутника, но слышала его смущенное покашливание, и после минутного молчания он ответил отрывисто:

– Я уже сказал вам, что это потерянная женщина: она была неверна, как и все индианки; мальчик имеет столько же прав на Шенвертский замок, как и всякий нищий, стучащийся у его ворот.

Лиана замолчала. Она ускорила шаг; ей было невыносимо душно в густых зарослях. Из-за разгоряченного воображения ей представилось, будто от шедшего за ней человека дохнуло пламенем. Вдруг ей показалось, что одна из ее кос зацепилась за куст; протянув руку, чтобы освободить ее, она коснулась чьей-то быстро убранной руки. Лиана чуть не вскрикнула. Если

бы ей попало под руку скользкое тело пестрой змеи, она не больше испугалась бы, чем этого прикосновения.

Выйдя из зарослей, она невольно бросила робкий взгляд на освещенное лицо священника: оно было так же спокойно, как изваянное из камня. Дальше они шли молча, когда же калитка в ограде затворилась за ними, священник остановился. Казалось, он подыскивал нужные слова...

– Этот Шенверт – раскаленная почва для нежных женских ног, из Индии ли они происходят или из немецкого графского дома, – начал он глухим голосом. – Баронесса, теперь во всем мире волнение, и боевой клич его: «Долой ультрамонтанов¹⁰, долой иезуитов!» Вам будут говорить, что я самый ярый из них, что я фанатик, вам будут говорить, что я сумел вполне подчинить своей власти высокопоставленных особ, что и составляет главную цель иезуитского ордена на всем земном шаре. Думайте об этом, как вам угодно... Но если в тяжелые для вас минуты – а без этого не обойдется – вам понадобится рука помощи, позовите меня, и я тотчас же явлюсь.

Он поклонился и быстрым шагом направился к северному флигелю. Лиана поспешила к себе. Трепещущими руками заперла она изнутри стеклянную дверь и недоверчиво осмотрела все шторы – плотно ли они сдвинуты, боясь, чтобы не проник сюда чей-нибудь непрошенный взгляд...

Никогда еще при мысли о том, что ожидает ее в будущем, не было у нее так тяжело на душе, как в эту минуту, – никогда, даже и в те ужасные дни, когда по Рюдисдорфскому замку разносился стук молотка аукциониста, а ее мать, ломая руки, бегала по пустым залам и в отчаянии бросалась на пол, обвиняя Провидение, допускавшее умирать с голоду последним Трахенбергам... Тогда умная и энергичная Ульрика взялась вести хозяйство и сумела сделать довольно сносной их жизнь, и спасителем их и брата стал труд. Труд – более достойная поддержка, нежели «рука помощи» этого католического священника! Нет, тысячу раз лучше пропасть в «тяжелые минуты», нежели обратиться к нему за помощью!

¹⁰ Ультрамонтаны (от лат. *ultra montes* – за горами, т. е. в Риме) – последователи возникшего в XV в. религиозно-политического направления в католицизме, поддерживающие идею неограниченной власти Папы, его права вмешиваться в дела государства. (Примеч. ред.)

Глава 8

Наутро Лиана открыла рядом со своей уборной скромно отделанную, но веселенькую комнатку, предназначенную служить ей гардеробной. Сюда перенесла она свой ботанический пресс, свои книги и рисовальные принадлежности, решив, что здесь будет работать. Большое окно выходило на самую живописную часть сада и на возвышавшиеся за ним высокие, покрытые лесом горы. Она заперла дверь на ключ и приказала горничной перенести гардероб в другую комнату. Горничная объяснила свое позднее появление обедней, и действительно, от ее платья еще пахло ладаном.

– Придворный священник слишком строг, – жаловалась она, – и если больной человек в состоянии хоть ползать, то должен быть на обедне... Он гостит здесь иногда дня по два-три, у него в Шенверте свои апартаменты, и он бывает еще строже самого гофмаршала. В столице тоже говорят, что господин придворный священник у герцогини первое лицо... – Свое длинное объяснение она заключила словами: – Слава Богу, он только что уехал обратно в город!

Это известие успокоило также и Лиану.

Вошел слуга и доложил, что в столовой подан завтрак. Эта столовая замыкала собой длинный ряд комнат гофмаршала; окна ее, обращенные на восток, выходили на обширный двор замка. Убранство ее состояло из массивной дубовой мебели, из множества оленьих и кабаний голов, развешанных по стенам, и из массивных кубков в буфетах – все это могло бы с гордостью служить украшением рыцарских обеденных зал Средних веков. В одном из углов столовой топился камин, искры с треском летели на широкую полосу падавшего на паркет луча утреннего солнца. Тепло от камина достигало только кресла гофмаршала и стоящего около него покрытого салфеткой столика, так как столовая была очень просторным помещением.

Подагра на этот раз, по-видимому, не так мучила старика: оставив свое кресло, но все-таки опираясь на костыль, он стоял у окна и смотрел во двор, когда вошла Лиана. Она увидела всю его фигуру в профиль. Этот человек, высокого роста, худой, как все Майнау, был, вероятно, красив в молодости, если бы только черты его не были чересчур мелкими для мужского лица; глубокая впадина между лбом и носом и слишком маленькое расстояние от подбородка до носа составляли те особенности, которые делали в молодости его лицо пикантным, а теперь придавали ему чрезвычайно лукавое выражение.

Сквозь полуотворенную дверь соседней комнаты слышался громкий голос маленького Лео. Странное дело, беспокойство, которое Юлиана ощутила при виде старика, стоявшего у окна, этот голос развеял, он каким-то образом умиротворил молодую женщину... В стороне от гофмаршала, на почтительном расстоянии стояла ключница. В руках она держала книгу и разные бумаги, по-видимому хозяйственные счета, и вытягивала шею, стараясь через плечо своего господина тоже посмотреть во двор...

Когда Лиана, поклонившись гофмаршалу, прошла мимо нее, то не заметила по ее лицу, чтобы она помнила о событиях прошедшей ночи. Гофмаршал повернулся и ответил на поклон Лианы хотя и любезно, но как-то торопливо; все внимание его, казалось, сосредоточилось на каком-то предмете во дворе.

– Вот, полюбуйте! – сказал он с волнением, обращаясь к подходившей Лиане, и указал ей на двор. – Эти безбожные повесы обломали молодые деревья, только что посаженные в парке... Негодяи! Они хорошо знают, что арапник висит на стене с тех пор, как я осужден сидеть на одном месте... Но на этот раз Рауль проучит их, чтобы впредь неповадно было, ведь это его касается – эти новые посадки сделаны по его желанию.

Барон Майнау, вероятно, только что вернулся с утренней прогулки верхом; он был в запыленном платье, с хлыстом в руке и со шпорами.

Перед ним стояли «безбожные повесы» – двое деревенских детей, мальчик и девочка. Их привел полевой сторож, который, держа мальчика за плечо, делал доклад о совершенном ими преступлении. Из всех окон выглядывали головы; у сарая стоял конюх, вытаращив глаза и устремив взгляд на хлыст господина барона, которым тот, слушая доклад, рассекал воздух. Девочка горько плакала, утирая слезы передником, и маленькое личико ее было бледно, как побеленная известкой стена.

Сторож окончил доклад; Майнау сердито отчитывал детей, и его голос доносился в комнаты. Он раза два поднимал над головами маленьких преступников свой хлыст, угрожая строгим наказанием, если проступок повторится, потом указал им на ворота. Девочка опустила передник и бросилась бежать, мальчик последовал за ней, и через несколько мгновений они скрылись за углом под громкий хохот замковых слуг.

– Глупец, глупец! – проворчал недовольный гофмаршал и, прихрамывая, побрел от окна к своему креслу.

Он был в самом дурном расположении духа. Лен окутала его ноги стеганым одеялом, поправила в камине дрова и спросила, указывая на расходную книгу, какие будут дальнейшие распоряжения господина барона.

– Никаких, – сердито ответил он, – кроме известных вам – не давать больше мадеры там, в индийском доме! С ума, что ли, вы сошли, Лен? Вы, кажется, думаете, что мне деньги с неба валятся! Почему бы вам уже не делать ей ванны из вина и бульона? С вас станется!

– Мне все равно, господин барон. Какое мне до того дело? – возразила ключница равнодушно. – Не одно ли и то же для меня наливать воду или вино в ложку, которую я подаю ей... Это новый доктор сказал: она должна пить мадеру.

– Пусть этот болван со всей его премудростью провалится известно куда! Ему незачем посещать ее.

– В тот день, как он вступил в должность замкового врача, молодой барон сам изволил проводить его туда, – пояснила Лен, нисколько не смущаясь резким тоном своего господина. – Он осматривал ее и уже два раза спрашивал меня – будто я могу что знать! – не были ли у нее припадки удушья, прежде чем ее разбил паралич?

Между тем Лиана подошла к большому круглому столу, стоявшему посреди столовой; на столе был приготовлен завтрак. Взяв кофейник, она стала спиной к говорившим и вдруг испуганно схватилась за свое легкое батистовое платье: искры градом посыпались из камина, с таким ожесточением гофмаршал мешал в нем своим костылем дрова.

– Довольно, теперь вы можете убираться, Лен! – крикнул он, пронзая ее взглядом, и указал ей на дверь. – Вы с вашей бабьей болтовней надоели мне!

Ключница с покорностью пошла к двери и уже взялась было за ручку. При этом шуме барон опять сильно ткнул в дрова костылем и повернул лицо к уходившей.

– Лен! – окликнул он ее. – Вы самая несносная женщина, какую мне когда-либо приходилось иметь в услужении, но вы, по крайней мере, имеете то преимущество пред прочей прислугой замка, что по большей части оставляете мудрость свою про себя и не пускаетесь в рассуждения... – Тут он откашлялся. – Пожалуй, продолжайте давать ей мадеру, но только чайными ложками – слышите? – чайными! Большая порция вина может причинить ей вред... Посещения же доктора я запрещаю раз навсегда. Помочь ей он все равно не может, а только беспокоит ее своими осмотрами.

В эту минуту в соседней комнате раздался гневный крик, за ним последовал целый поток бранных слов из уст Лео, и слышно было, как он затопал ногами.

– Эй, что там? – прокричал гофмаршал. – Да где прячется эта Бергер?

– Я здесь, – отозвалась наставница, входя в комнату с обиженным, но все-таки смиренным видом. – Я все время была здесь, в комнате... Лео сначала был такой смирный, послушный, но потом Габриель выронил из молитвенника картинку. Вы ведь, господин барон, знаете,

что этот мальчик глуп и вздорен. Вместо того чтобы отдать ее Лео, он стал вырывать ее у него из рук.

Маленький Лео не дал ей окончить; он оттолкнул ее в сторону, подбежал к деду, держа в каждой руке по половине картинки.

– Рвать она все-таки не должна была! Ведь это глупо, бабушка! Не правда ли? – кричал он, вне себя от огорчения. – Мне очень хотелось иметь эту картинку, это правда, а Габриель не давал, ни за что не хотел дать ее мне; тогда она схватила этого чудного льва и разорвала его пополам!.. Посмотри!

– Не могу не восхититься вашим неподражаемым решением, госпожа мудрость, – сказал гофмаршал с едким сарказмом наставнице, которая, сознавая свою правоту, подошла было ближе и теперь в смущении потупила глаза.

Гофмаршал взял разорванную картинку и бросил на нее беглый взгляд.

– Габриель! – позвал он повелительно.

Мальчик вошел в комнату и остановился у двери; его ресницы были опущены, лицо сделалось бледнее обыкновенного.

– Ты опять малевал? – резко спросил гофмаршал, прищурившись, а потом устремил язвительный взгляд на трепещущего мальчика.

Габриель молчал.

– Ты опять стоишь, как будто и до трех не умеешь сосчитать, хитрец! А там, за провололочной оградой, ты совсем другой... Я знаю тебя! Только попусту портишь дорогую бумагу и поешь светские песни, как какой-нибудь язычник.

Эти слова потрясли Лиану; она с нежностью посмотрела на мальчика: эти песни бедный ребенок с исполненным тревогой сердцем пел, чтобы успокоить свою взволнованную мать.

Гофмаршал потер бумагу пальцами.

– И откуда у тебя такая великолепная бумага? – продолжал он допрашивать мальчика.

Ключница, взявшаяся было за ручку двери, быстро повернулась и сделала несколько шагов в сторону гофмаршала; ее лицо было совершенно спокойно, только всегда румяные щеки стали еще краснее обыкновенного.

– Это я дала ему, барон, – сказала она своим решительным тоном.

Гофмаршал обернулся.

– Что это значит, Лен? Как осмелились вы сделать это вопреки моей воле?

– Э, господин барон. Рождество исключительное дело: тут только и хлопчешь о том, чтобы за пару пфеннигов получить благодарность, а мальчика ничем так не утетишь, как этой бумагой... Детям кучера Мартина я подарила на елку много разных безделушек, и никто не осудил меня за это... Я весь год не забочусь о том, пишет или рисует Габриель, ведь это не мое дело, да я ведь ничего и не понимаю в этом. Я и подумала: а может быть, он нарисует Матерь Божию, ведь это не грех.

Гофмаршал смерил ее долгим подозрительным взглядом.

– Не знаю, или вы бесконечно глупы, или чрезвычайно хитры, – проговорил он, отчеканивая каждое слово.

Лен спокойно выдержала его взгляд.

– Милосердный Боже! За всю жизнь мою я ни разу не хитрила! Нет, уж скорее я глупа, господин барон.

– Ну, так позвольте просить вас оставить ваши глупости на будущее Рождество. Берегите свои пфенниги на черный день, когда вы не в силах будете ни работать, ни служить! – гневно сказал он и ударил костью о паркет. – Мальчик не должен рисовать ни под каким видом, слышите? Это его развлекает... Разве это Матерь Божия? – горячился он, показав ей оба куска разорванной бумажки, на которой был нарисован лев, готовящийся сделать прыжок. – Я

говорю, что он только дурачится, а вы так просты, что еще и способствуете этому... Отвечай! – скомандовал он мальчику. – Какое у тебя призвание?

– Я пойду в монастырь, – ответил тот тихо.

– И почему?

– Я должен молиться за свою мать, – проговорил мальчик, и слезы брызнули из его глаз.

– Правильно, ты должен молиться за свою мать, на то ты и родился, на то и послал тебя Бог на этот свет... И если ты протрешь свои колени до кости, день и ночь призывая на нее милосердие Божие, то и этого будет недостаточно. Ты знаешь это, тебе и придворный священник тысячу раз повторял то же самое, а ты все предаешься светским занятиям и даже строго запрещенное тебе малевание кладешь в молитвенник... Стыдись, негодный мальчишка! Марш отсюда!

Худенькая фигурка мальчика исчезла за дверью, как тень.

– Лен, вы соберете всю подаренную на елку бумагу и принесете мне! – сказал гофмаршал.

– Слушаюсь, господин барон, – ответила ключница и расправила свой туго накрахмаленный фартук; ее рука слегка дрожала, но лицо было совершенно бесстрастно.

Поклонившись, она вышла из столовой.

– Сегодня дедушка такой злой! – шепнул Лео наставнице.

Она с испугом зажала ему рот рукой. Лео ударил ее по руке и стал порывисто вытирать рукавом губы.

– Вы не смеете трогать моего лица вашими ледяными руками! Я терпеть этого не могу! – выкрикнул он, и это прозвучало очень грубо.

Напрасно ждала Лиана выговора со стороны гофмаршала, тот, отвернувшись, смотрел в камин, точно и не слышал звонкого удара по руке наставницы.

– Ты нехорошо поступил, Лео, и заслуживаешь наказания, – сказала она наконец строго.

– О, пожалуйста! Это ничего, – тараторила наставница, подвязывая мальчику салфетку. – Мы все-таки с ним ладим, не правда ли, мой милый Лео?

– С такими правилами вы недалеко уйдете, фрейлейн Бергер, – возразила молодая женщина. – И для ребенка подобное обращение...

– Извините, но я поступаю согласно данной мне инструкции, – прервала ее колко наставница, бросив при этом взгляд на гофмаршала. – Я всегда буду стараться заслуживать одобрение только с этой стороны; никто не может служить двум господам.

– Позвольте мне высказаться, фрейлейн Бергер! – прервала ее Лиана совершенно спокойно, но с таким достоинством, что наставница замолчала и потупила глаза.

– Позвольте мне прежде высказаться! – воскликнул старик.

Он небрежно откинулся на спинку кресла, сложив ладони и постукивая пальцами о пальцы; дерзкая и злая улыбка играла на его губах.

– Вы вчера были величественной и в то же время девственно прекрасной невестой, и уверяю вас, вы мне гораздо больше понравились, нежели сегодня, когда стали демонстрировать материнское достоинство. Это мудрое выражение не идет вашему молоденькому личику... Скажите, откуда взялось у вас стремление вмешиваться в воспитание детей? Уж конечно, не от вашей светлейшей матушки, ее-то я знаю. – Все это он говорил с улыбкой, как бы шутя, и продолжал постукивать пальцами о пальцы. – Ах, вы, верно, в институте читали «Эмиля» блаженной памяти Руссо, с позволения или тайно от начальницы, что, впрочем, все равно! Эти идеи были когда-то в большой моде, и ими до тех пор кокетничали, пока большая часть их почитателей не сложила своих голов под гильотиной... И мы с вами, похоже, сбились с истинного пути; но люди, которые за нами следуют, должны быть тверды. Это значит сеять драконовы зубы, а не так называемые семена добра, которыми у всех наших школьных учителей переполнены карманы. Итак, на будущее: не искажайте вашего нежного, очень детского

личика неуместной строгостью и предоставьте мне эти заботы... А теперь я попрошу чашку шоколаду из ваших белоснежных ручек.

Лиана поставила чашку на серебряную тарелку и подала ему. Внешне она была очень спокойна: ее не смутил ни торжествующий взгляд косых глаз наставницы, ни насмешливая улыбка, не сходявшая с губ старика. Он посмотрел на нее, когда она подавала ему чашку, и в первый раз Лиана могла заглянуть в его выразительные маленькие глаза: в них пылала злоба. Она тотчас поняла, что этот человек, с которым ей предстояло жить до конца дней его, был непримиримым ее врагом. Она была слишком умна, чтобы не понять также, что кроткая уступчивость с ее стороны только погубила бы ее и дала бы ему власть над ней и что здесь, если она не хочет лишиться своих прав и положения, должна при случае, когда может, платить той же монетой.

Он взял ее левую руку и посмотрел на нее.

– Прелестная ручка, истинно аристократическая! – Слегка ощупав конец ее указательного пальца, он добавил: – Он очень шершав; вы шили, то есть не вышивали, а просто шили, вероятно, белье в приданое себе? Этот исколотый пальчик должен стать совсем гладким, прежде чем мы представим вас ко двору. Такое доказательство трудолюбия камеристки не пристало пальчику баронессы Майнау... Боже, как меняются обстоятельства! Что сказал бы рыжий Иов Трахенберг, самый богатый и могущественный из крестоносцев, если бы увидел этот изувеченный пальчик?!

Лиана смотрела на него серьезно.

– В его время женщины высшего общества не стыдились, если руки их свидетельствовали о трудолюбии, – сказала она. – Что же касается нашей бедности, с которой вы связываете изувечение моего пальца, то, надеюсь, Иов имел столько мудрости, чтобы понять, что превратности судьбы выше человеческой воли и что минувшие после его кончины столетия не могли бесследно пройти для последующих родов... Майнау тоже не всегда пренебрегали трудом. Я довольно часто перелистывала свой фамильный архив и знаю из записок моего предка, что один из Майнау долгое время служил у него бургомистром и был, как он выразился, честным, верным и чрезвычайно трудолюбивым человеком.

Она вернулась к столу и стала готовить кофе; в столовой на время воцарилась мертвая тишина.

При последних словах Лианы гофмаршал поднес чашку ко рту с такой поспешностью, точно умирал с голоду. Вдруг Лиана услышала стук чашки о блюдечко в его руках, и когда он, после минутного молчания, резко и повелительно спросил у нее гренков из белого хлеба, она подала ему тарелку с такой предупредительностью, как будто между ними не произошло никакой размолвки. Он торопливо взял с тарелки несколько ломтиков, не отрывая глаз от камина.

Глава 9

– Мама, – сказал Лео ласково, протягивая к ней свои маленькие ручки, – я буду умник, я больше никогда не буду бить Бергер, только позволь мне сидеть около тебя.

Она посадила его рядом с собой, невзирая на гневный взгляд, брошенный на нее стариком, и подала ему завтрак.

В это время в противоположную дверь вошел барон Майнау и на мгновение с видимым удовольствием остановился на пороге. Представившаяся его глазам картина была ему очень приятна – именно такую хозяйку желал он видеть в Шенверте. Она сидела в белом батистовом платье с высоким воротом; ее лицо было поразительно бледным, особенно в сравнении с цветущим детским личиком, а на светлом фоне стен ярко выделялись ее золотистые волосы. Вчера ее величественная осанка смутила его. Ее чудная фигура и гордая посадка головы, а также решительные речи настораживали: она вовсе не походила на смиренную и робкую девочку, какую он желал и для себя, и вообще для Шенверта. Это неприятное открытие сильно встреможило его, и он не мог простить себе, что позволил сиятельной родственнице из Рюдисдорфа перехитрить себя и связал свою жизнь с высокомерной, требовательной женщиной, гордой своими предками и знающей себе цену. Она была способна ограничить драгоценную для него свободу... Теперь он увидел ее выполняющей обязанности хозяйки, причем с таким скромным видом, что даже весьма неприятная наставница казалась около нее сноской... Его сын сидел возле нее, и старому дяде, по-видимому, был обеспечен хороший уход.

Весело пожелав всем доброго дня, он скорыми шагами направился к столу. Казалось, что вся яркость красок и свежесть летнего дня ворвались в комнату вместе с ним, так гордо, преисполненный жизненных сил, шел он по просторной столовой. Никто так ясно не ощущал этого, как больной старик, сидевший у камина; он нахмурил свои тонкие брови, и глубокий вздох вырвался из его груди. Его настроение от этого несколько не улучшилось.

– Ну, Рауль, многие ли из твоих молодых *prunus triloba*¹¹ стоят в новом парке? – насмешливо спросил он у племянника, который в эту минуту подносил к губам руку своей молодой жены.

Легкая складка легла на его белом высоком лбу, но он тотчас же засмеялся.

– Каковы умники! «Только один домик» хотели они построить себе, и для этого им понадобились мои великолепные *prunus*, – сказал он с юмором. – К счастью, их поймали именно в тот момент, когда они добивались до самого лучшего экземпляра, моего любимца; в сущности, ущерб незначителен.

– Нет, значителен, и был бы таковым даже в том случае, если бы они отломили один только прутик, – резко прервал его гофмаршал. – Это уже слишком далеко зашло! Пока я был на ногах, никто не осмеливался даже листка коснуться; этих дерзких детишек надо было бы наказать, примерно наказать... Если бы этот хлыст был в моих руках!

– Я не нахожу удовольствия бить такое крикливое маленькое создание, да и мальчик показался мне очень бледным, – сказал барон Майнау медленно и с пренебрежением, направляясь к окну.

Какой контраст представляло напускное хладнокровие обыкновенно вспыльчивого Майнау с клокотавшей злобой его дяди!.. Донельза раздраженный, повернулся он к племяннику, который, стоя у окна, тихонько барабанил пальцами по стеклу.

– Такому гуманизму «братья портные и сапожники» будут неистово аплодировать, он поможет тебе приобрести среди них популярность, но людям своего круга ты покажешься смешным, – заметил гофмаршал.

¹¹ Слива трехлопастная (лат.).

Майнау продолжал барабанить по стеклу, но видно было, что кровь бросилась ему в лицо.

– Мой милый Рауль, когда я смотрел на разыгрывавшуюся во дворе сцену, в мою голову невольно закралась подозрение: должно быть, правда то, что про тебя болтают.

– А что про меня болтают? – спросил Майнау и повернулся к дяде.

– Э, не горячись, друг мой! – отозвался тот.

Красавец Майнау, стоя в оконной нише, принял вдруг такой повелительный вид, точно требовал объяснений.

– Честь твоя тут не затронута, – продолжал дядя, – только, повторяю, ты делаешься смешным, допустив из принципов гуманизма побег преступника Штрольха, этого гессенца, который уже много лет занимался браконьерством в Шенверте; говорят, что ему помогло «высшее» лицо именно в ту минуту, когда жандармы готовились схватить его.

Насмешливая улыбка мелькнула на губах Майнау.

– Вот как? Неужели слухи об этом маленьком грешке дошли до тебя, дядя? – спросил он. – Как не восхищаться искусным плетением паука, ведь за какую бы ниточку ни задела несчастная муха, ее неминуемо тянет к центру... Этот гессенец был действительно пренеприятной личностью: он у меня под носом убивал моих лучших оленей. Еще если бы это было из страсти к охоте, я, пожалуй, посмотрел бы сквозь пальцы, а то ведь он делал это по нужде... *Fi done*¹²! Прежде, конечно, было иначе – тогда владельцы Шенверта имели полное право расстрелять такого надоедливового субъекта без всяких последствий и даже сделать себе перчатки из его кожи. Боже! Неужели право натягивать на свои пальцы кожу ближнего может способствовать осознанию своего могущества?

При этих словах гофмаршал развернулся и устремил пристальный, испытующий взгляд на говорившего. Потом повернулся к нему спиной и принялся отбивать такт своей палкой по бронзовой решетке камина с такой силой, что она зазвенела.

– Многочисленные преимущества нашего сословия лишили нас злополучных новейших идей, – продолжал Майнау, – а того, что оно дает нам взамен, я не хочу... Мошенник, который очистит лавку брата сапожника или портного, будет точно так же наказан, как и браконьер, ворующий мою дичь! Нет, это не в моем вкусе! Его посадят в тюрьму, и поскольку по выходе из нее ему положительно нечего будет есть, он в этот же вечер снова примется за добывание пропитания в моих лесах. В таком случае я, как и в былые времена, сам совершаю расправу и устраняю молодца с дороги: будучи в Америке, он не сможет мне вредить.

– Глупости! – сердито буркнул старик.

А Майнау тем временем подошел к кофейному столу и погладил кудрявую головку Лео.

– После завтрака мы с тобой поедem кататься, мой мальчик: мы должны показать маме наших фазанов и другие редкости Шенверта. Ты согласна, Юлиана? – спросил он ласково у жены.

Она ответила утвердительно, не поднимая глаз от вышивания.

Майнау закурил сигару и протянул руку к шляпе. Лиана встала.

– Могу я просить тебя уделить мне несколько минут? – обратилась она к нему.

Она стояла пред ним высокая, стройная, недоступно-важная. Он видел вблизи белизну ее бархатной, матовой кожи, какая почти всегда бывает у рыжеволосых, видел ее серо-голубые глаза, бесстрастно смотревшие на него.

Он вежливо подал ей руку.

– Берегись, Рауль! Прекрасная дама привезла массу интересного из Рюдисдорфа, – сказал гофмаршал шутливо, грозя ему вслед пальцем. – Она лучше всякого архивариуса знает свои фамильные традиции. Я сейчас узнал от нее, что один из Майнау числился на службе у сиятельных Трахенбергов.

¹² Фу! (фр.)

Майнау порывистым движением опустил руку, на которую опиралась его молодая жена. Молча, с угрюмым видом подошел он к двери, широко распахнул ее и пропустил Лиану вперед.

Она подняла на него глаза, только когда они остановились у другой двери, в которую он предлагал ей войти. Как только Лиана вошла в комнату, ей бросилось в глаза висевшее на противоположной стене, подобно легкому облаку, резко выделявшемуся на ярком фоне обоев, изображение воздушного существа с упрямым, гордым поворотом пленительной головки, с плоской грудью, узкими плечами, худенькими, детскими руками, тонувшего в волнах желтоватых кружев. Оно выступало из массивной рамы подобно белой бабочке, привязанной за нитку и напрасно порывающейся куда-либо лететь. То был портрет первой жены Майнау, и Лиана испугалась, догадавшись, что она в комнате Майнау. Неверным шагом приблизилась она к окну.

– Я вас не задержу, – сказала она, отказываясь от кресла, которое он ей придвинул.

Опершись рукою о край письменного стола, она невольно сдвинула с места один из больших фотографических портретов в овальных рамках, украшавших стол.

– Герцогиня, – сказал Майнау, как бы представляя ее, и осторожно поставил портрет пышной красавицы на прежнее место.

Неожиданно для Лианы он подошел к окну, у которого она стояла, и наполовину спустил штору. Солнечный луч, играя на лбу молодой женщины, заставил ее опустить глаза.

– Ну, – сказал Майнау, покончив со шторой и продолжая стоять лицом к окну, – могу я узнать, каковы твои желания, Юлиана? Они как-то связаны с Рюдисдорфом, как говорил дядя? Он был сегодня в дурном расположении духа; твоё замечание, вероятно, ещё более раздражило его.

– Я была вынуждена сделать это, – сказала Лиана спокойно, но решительно.

– Как! Он опять решился оскорбить тебя? Он дал мне слово...

– Оставьте это, – прервала она его, сопроводив эти слова спокойным, но горделивым движением руки. – Он очень болен, и я не забываю об этом ни на минуту. А что касается его злобных нападок, то я стану до тех пор отражать их в рамках приличия, пока он не прекратит это делать.

Майнау окинул ее пристальным, испытующим взглядом.

– Это очень благоразумно, – произнес он медленно. – Таким образом у нас водворится мир, которого я страстно желаю... Поверь мне, ничто не может так радовать человека, собравшегося путешествовать, как уверенность, что у него дома все обстоит так, как он того желает.

– Об этом-то я и хотела поговорить с вами. Вы...

Он весело улыбнулся.

– Право, Юлиана, это никуда не годится, – прервал он ее. – Если бы кто-нибудь мог подслушать нас, то непременно разразился бы смехом... Воля твоя, но ты должна наконец решиться переменить «вы» на «ты», хотя бы ради замковой прислуги, которая может счесть такое обращение за особенный, вовсе не приличествующий мне знак уважения. Такого поклонения я не желаю, более того, не заслуживаю ввиду моих многочисленных недостатков.

При этих словах он невольно окинул взглядом письменный стол и оконную нишу, в которой стояла массивная, чудной работы резная мебель. Лиана следила за его взглядом. И в самом деле, тут была целая картинная галерея портретов красавиц в дорогих бронзовых рамках; там – прелестное аристократическое личико с томным взглядом, за ним – гордо откинута голова, а между ними танцовщицы в самых соблазнительных костюмах и позах. В центре стола, где, по ее мнению, приличнее всего было бы стоять портрету Лео, красовался под стеклянным колпаком, на белой бархатной подушке, светло-голубой и уже полинявший атласный башмачок.

Лиане не были внове такого рода мужские причуды: ее подруги в институте не раз рассказывали ей об этом. Но тут она впервые видела собственными глазами пример такого поклонения. Она сильно покраснела. Майнау заметил это.

– Воспоминания несчастного времени моих «безумств», – прокомментировал он весело и так сильно щелкнул указательным пальцем по колпаку, что звон стекла раздался по всей комнате. – Боже мой, как надоело мне все это созерцать, но мужчина должен держать данное слово! В минуту увлечения я поклялся обладательнице сего свято хранить свидетеля ее торжества и храню, но он ужасно мешает мне, особенно когда я пишу письма: своим большим размером он уязвляет мой изящный вкус и постоянно напоминает мне, как непростительно я был глуп в то время... Но еще раз прошу тебя, Юлиана, – сказал он серьезнее, – обращаться ко мне более непринужденно, и это пойдет лишь на пользу тебе как хозяйке дома... Будем добрыми друзьями, Юлиана, верными товарищами без притязаний на сентиментальность. Ты увидишь, что, несмотря на мое непостоянство, я надежен в дружбе и умею свято хранить ее...

– Я согласна, хотя бы ради Лео, – сказала она, с необыкновенным тактом выходя из затруднительного положения. – Я желала поговорить с тобой и сообщить тебе, что ребенок в весьма ненадежных руках, что ты должен немедленно принять меры...

Он не дал ей закончить.

– Это я предоставляю тебе! – воскликнул он нетерпеливо. – Прогони эту особу хоть сейчас, только избавь меня от вмешательства... Умоляю тебя, не подражай Валерии! Той хотелось непременно сделать из меня домашнего полицейского, и поначалу она проливала горькие слезы, потому что я не соглашался делать выговоры ее горничной за каждый дурно приколотый бантик!.. Еще прошу тебя никогда не горячиться, Юлиана, при любых обстоятельствах не горячиться! Чем спокойнее, бесстрашнее и равномернее потечет наша жизнь в Шенверте, тем благодарнее буду я моему доброму другу... Впрочем, дядя уже списался с новой гувернанткой, которая имеет отличные рекомендации.

Лиана вынула из кармана какие-то бумаги.

– Мне было бы всего приятнее, если бы она вовсе не приезжала, – сказала Лиана. – Может быть, ты просмотришь эти бумаги – это не займет много времени. Вот мой аттестат из института. Я неплохо знаю новейшие языки; что же касается произношения, то о нем ты сам можешь судить. По прочим предметам у меня тоже хорошие отметки; кроме того, я не решилась бы взять на себя обучение мальчика, если бы сама не занималась серьезно и с охотой... Ты сделал бы меня счастливой, если бы согласился, чтобы я одна занималась воспитанием Лео, тем самым ты позволил бы мне достигнуть избранной мною цели в жизни.

Он несколько раз прошелся быстрым шагом по комнате и потом, явно удивленный, остановился перед ней.

– Такие речи в устах женщины для меня новы, я еще никогда не слышал ничего подобного, – сказал он. – Я охотно поверил бы тебе, Юлиана, будь ты поопытнее и лет на десять старше.

Полунасмешливым, полупрезрительным взглядом окинул он свою галерею красавиц и остановил его на портрете первой жены.

– «Лев еще не пробовал крови!» – говорим мы обыкновенно слишком самонадеянному и неопытному человеку. Кто знает, может быть, во многих из этих головок были задатки добродетели, пока общество не увлекло их в свой водоворот, – продолжал он, указывая на ряды портретов. – Ты воспитывалась в институте и по возвращении домой оказалась свидетельницей – извини меня – падения рюдисдорфского величия... Ты не знаешь, насколько прекрасной может быть жизнь. Когда-то графиня Трахенберг упивалась ею до пресыщения.

При намеке на расточительность матери Лиана вспыхнула.

– Что мне отвечать тебе, – заговорила она тихо, – когда ты не хочешь верить, что у девушки может закалиться душа после поучительного примера? Позволь мне быть откровенной, как это подобает добрым друзьям, – продолжала она быстро и энергично. – Я, подобно тебе, предназначала себе план своей жизни и буду ему следовать. Прежде всего прошу тебя

не класть более ничего в верхний ящик моего письменного стола, это золото пугает меня, да и к чему оно мне?

– И ты хочешь, чтобы я поверил тебе, после того как ты только вчера заявила о своих правах облачаться в горностаи и уверяла, что сумеешь сохранить их за собой? Где же ты хочешь щеголять? Ведь не в классной же комнате! При дворе, конечно, на паркетах дворца, а для этого много надо, в чем ты сама скоро убедишься. Придет время, когда ты попросишь меня увеличить сумму, получаемую тобой «на булавки». Вот эта, – он указал на портрет первой жены, – обладала таким талантом, приобретешь его и ты.

– Нет! – решительно воскликнула Лиана. – Никогда! А теперь позволь мне сказать в свое оправдание: да, я горжусь своими предками – это были честные и благородные люди из рода в род, и для меня ничего нет приятнее, как освежать в памяти историю их жизни. Но ведь я не могу заставить уважать себя за их достоинства и никогда не похвалилась бы унаследованным мною блеском перед людьми, которые умеют правильно расставить приоритеты. Но там, где проявляются гордость и кичливость своим богатством и положением, – там я взываю к моим предкам.

Он с минуту стоял перед ней молча, скрестив руки на груди.

– Я хочу спросить тебя: почему только тут, в Шенверте, у тебя такие глаза, Лиана? – медленно проговорил он.

Она с испугом отвела от него свои горевшие воодушевлением глаза.

– Мне хотелось бы знать твое решение, – произнесла она в замешательстве. – Могу ли я быть матерью Лео и его единственной наставницей и устроишь ли ты так, чтобы и гофмаршал не стеснял в этом свободы моих действий?

– Это будет нелегко, – сказал Майнау и провел рукой по лбу. – Но это не мешает мне предоставить тебе полную власть... Посмотрим, кто в тебе победит – идущая к своей цели, невзирая на все препятствия, или дочь княжны Лютовиской!

– Благодарю тебя, Майнау, – сказала она по-детски радостно, не обратив внимания на его последнее ироническое замечание.

Он хотел было поцеловать ей руку, но она отвернулась и быстро пошла к двери.

– Не надо этого: добрые товарищи и так поймут друг друга, – сказала она, оглянувшись на него с веселой улыбкой.

Глава 10

Лен приходилось теперь нелегко, как она выражалась. При этом она лишь склоняла голову и глубже втыкала роговой гребень в свою седую косу. Трудно ей было ладить с больной, которую очень волновало то, что герцогиня аккуратно, каждый день, даже когда «Господь посылал с неба дождь», проезжала верхом мимо индийского домика... При дворе все были убеждены, что после внезапной женитьбы Майнау, после «этого безумного поступка», отношение к нему герцогини изменится, прежнее расположение заменит глубокая ненависть. Но этого не случилось. Приближенные поговаривали, что герцогиня, убедившись, что этот брак совершен исключительно по расчету, успокоилась, тем более что старый гофмаршал воспринял это событие враждебно и надеялся, что по истечении какого-то времени брак будет расторгнут... Но чего никто не знал, так это необъяснимых загадок женского сердца, одинаково присущих как сердцу аристократки, так и сердцу гризетки: никогда еще герцогиня не любила так глубоко и страстно гордого красивого барона, как после данного ей ужасного урока, жестоко уязвившего ее душу...

«Красноголовая», как называли придворные дамы новую госпожу Шенвертского замка, не могла возбудить ревности герцогини, которая при встрече успела рассмотреть ее лицо сквозь «монашескую вуаль» и не нашла в нем ничего привлекательного. Между тем как первая жена своими изящными туалетами, пикантностью и неутолимой жадой увеселений всегда была желанной гостьей и лучшим украшением салонов, второй жены Майнау даже не представил при дворе.

Он по-прежнему по несколько дней жил один, как холостяк, в своих роскошных съемных апартаментах в столице и нередко говорил о своей предстоящей поездке на Восток... Все это убедило герцогиню, что женитьба навсегда утолила жажду мести пылкого барона и он оставался совершенно равнодушным как к своей дальнейшей судьбе, так и к орудию своей мести. Герцогиня начала опять ежедневно кататься верхом через Шенвертский парк и всегда была в очень веселом настроении.

По отъезде гувернантки из замка, что случилось через несколько дней после разговора Лианы с Майнау, придворный священник стал чаще обыкновенного наезжать сюда, он вызвался даже преподавать Лео Закон Божий... Между дядей и Майнау произошла бурная сцена; прислуга утверждала, что от костыля летели щепки – так сильно стучал им гофмаршал по паркету. Но горячность его была совершенно напрасна, так как через полчаса спальня Лео была обустроена рядом со спальней Лианы, и с этой минуты Лиана окончательно вступила в права матери, и в доме все должны были безоговорочно признавать их за нею. Хотя люди в замке и поговаривали между собой, что гофмаршал терпеть не может молодую госпожу, а молодой барон совсем равнодушен к ней, но что в ней за десять шагов видна графиня – этого они отрицать не могли, а потому у них не хватало мужества отвечать ей невежливо. Сначала они, конечно, удивлялись, когда эта «вторая» вдруг неожиданно являлась перед ними, следя за «порядком», но скоро все привыкли к этому и даже брюзгливая ключница беспрекословно отворила кладовые, чтобы новая госпожа с проницательными серо-голубыми глазами могла все осмотреть.

После известного разговора Лиана избегала оставаться наедине с Майнау, да и он не стремился к этому. Ему также не представлялось больше случая удивляться ее взгляду. Даже при самых оживленных разговорах и спорах между ним и придворным священником за чайным столом она сидела так тихо, пристально следя за мельканием иголки в своих красивых руках, что Майнау был убежден: она мысленно проверяет вокабулы¹³ Лео или считает куски

¹³ Вокабула – слово иностранного языка с переводом на родной язык. (Примеч. ред.)

мыла, выданного ею в прачечную. Он, ненавидевший «немецкую скуку», как смертельный яд, сам, своими руками водворил ее у себя в доме вместе с этой тихой, пассивной особой. Все его работы в парке были окончены, так что ему, как он выражался, целых полгода нечем было заняться в отечестве, и он стал энергично готовиться к отъезду... В его жилах текла бродяжническая кровь Майнау, как сказал он, посмеиваясь, однажды за чаем гофмаршалу.

Старик обиделся и запретил употреблять подобные сравнения. Обмен резкими выражениями пролил свет на события прошлого. Продолжая, по-видимому безучастно, класть стежок за стежком, Лиана представила себе трех братьев Майнау, которые лет тридцать пять тому назад давали немало поводов для пересудов. Они были красивы и богаты, и все перед ними заискивали... Этот старик с безукоризненно завитыми седыми волосами, с покрасневшим от волнения лицом был прав, не признавая в себе бродяжническую кровь. Он, средний из братьев, мог жить и дышать только в придворной атмосфере. Он всегда стремился к высшим целям, как обыкновенно говорила о нем графиня Трахенберг, когда хотела намекнуть на то, что отвергла его притязания... Удачно пристроившись при дворе, он, как ему и приличествовало, женился на равной ему по рождению женщине, «назначенной» ему царствующей герцогиней, и вполне мог сказать, что его аристократические ноги не касались грубой почвы обыденной жизни. Его старшему брату, напротив, рано наскучил свет, он добрался даже до вечных льдов Северного полюса и вел кочевую жизнь вместе с индейскими охотниками. Когда же он появлялся в «родном гнезде на немецкой земле», то своей эксцентричностью и бесцеремонностью приводил в ужас своего брата-придворного. Но одной красивой богатой наследнице все же удалось поймать его в свои сети; он женился на ней и прожил в столице как раз столько времени, сколько было нужно, чтобы после несчастных родов закрыть прелестному созданию глаза, дать при крещении осиротевшему сыну имя Рауль и составить завещание. Тогда он отряс прах со своих ног, и по его поручению германское посольство в Бразилии сообщило на родину, что он умер от лихорадки.

Узнав столько для нее нового, Лиана хотела было пожалеть своего мужа, так рано осиротевшего, но стоило ли? Он был богат, красив, полон жизненных сил и, стремясь к независимости, был до крайности беспощаден к другим. Весь мир со всеми его наслаждениями был у его ног, и в силу своей пылкой натуры он предавался им без разбора. Он сидел возле ворчливого старика, следя за голубыми клубами дыма своей сигары, устремляющимися к окну, к последним лучам заходящего солнца.

– Милый Шенверт! – воскликнул он с комическим пафосом, указывая рукою на открывавшийся с террасы великолепный пейзаж. – Завидный уголок! Именно тебе обязаны мы неутолимой жаждой к странствованию. Дядя гофмаршал и теперь прозябал бы в своей казенной квартире при дворе, если бы Гизберт Майнау остался здесь за печкой!

Придворный священник был прав, говоря, что старик выходит из себя при имени третьего, младшего брата. Так случилось и теперь: заслышав имя Гизберта, старик вздрогнул, но на этот раз неосторожное напоминание не вызвало бурю. Торопливо, точно собираясь в путь, положил он в карман пунцовый шелковый платок и различные флаконы и сказал:

– Пардон, мне пора идти к себе; к вечернему воздуху и к его бесспорной силе мои нервы чувствительны, как мимозы. Но кто может сравниться с ним в силе?... Да, блаженное время! Я всегда любил французский стиль жизни, а теперь сделался таким сварливым, или скорее насмешником, что нахожу курьезным, когда немецкая подражательность толкает тебя идти по стопам великого дяди... Любезный Рауль, ты перенял много замашек дядюшки Гизберта, думаю, что никто не станет отрицать этого. И так как это тебе нравится, я искренне желаю, чтобы ты держался проложенного им пути, – охота странствовать привела-таки его к истинной цели – к вечному спасению.

– Боже мой, как это грустно! Бедный дядя, он занемог и стал благочестивым, – проговорил Майнау с холодной усмешкой, между тем как гофмаршал, что называется, бил в набат своим серебряным колокольчиком.

Вошел камердинер, чтобы везти его в спальню. Майнау отстранил слугу и собственноручно покати кресло к двери.

– Ты, верно, позволишь мне оказать дедушке Лео должное почтение, – сказал он вежливо, хотя и очень сдержанно, гофмаршалу, который гордо кивнул ему в ответ.

Потом Майнау закрыл за ним дверь и возвратился к чайному с толпу.

Молодая женщина охотнее сложила бы в эту минуту работу и тоже удалилась бы: она поневоле осталась с Майнау одна, с глазу на глаз, и вовсе не желала после остроумных споров его с дядей и придворным священником обсуждать с ним бытовые вопросы, так как он никогда не скрывал своей нелюбви к домашней прозе. Но Лиана не нашла благовидного предложения выйти из комнаты: укладывать Лео было еще рано; мальчик преобразил Габриеля в коня и с громким криком гонял его взад и вперед по ступеням лестницы, ведущей от стеклянной двери в сад. Пододвинув стул ближе к окну, она стала заканчивать пурпуровый цветок кактуса, пользуясь последними лучами заходящего солнца.

– Не страшит ли тебя фантастическая семья, в которую я ввел тебя, Юлиана? – спросил Майнау с улыбкой и, немного помолчав, закурил новую сигару. – Ты видишь, что у дяди волосы становятся дыбом при мысли, что в его жилах есть хоть капля нашей «дурной» крови; он отчасти прав, олицетворяя собой нормы и традиции, и ты со своим невозмутимо-спокойным, очень благоразумным взглядом на вещи сходишься с ним – насколько я успел узнать тебя.

Майнау остановился, как бы в ожидании утвердительного ответа, но Лиана даже не взглянула на него. Она думала, что ей не стоит убеждать его в противном, раз он этого вовсе не желает. Подняв немного голову, она сравнивала только что вышитую тень с общим рисунком. Нежные губы ее были сжаты, а матово-бледные щеки ни на каплю не сделались розовее. При своей необыкновенной миловидности, в эту минуту вторично поразившей пристально смотревшего на нее Майнау, молодая женщина, устремившая на узор взгляд, была безжизненна, как статуя. Он невольно подумал: «Неужели только одна фамильная гордость стала причиной невозмутимости этой замкнутой души?» Но он тут же и обрадовался, что это именно так, а не иначе.

– Какой дивный рисунок! – отметил он, указывая на цветок кактуса. – Я понимаю, что тихая женская натура может до того углубиться в этого рода занятие, что забывает обо всех прелестях внешнего мира. Ты, конечно, едва ли слышала что-нибудь из наших с дядей прений.

Он говорил так благосклонно и снисходительно, как будто не сомневался в ее положительном ответе.

– Я достаточно слышала, чтобы удивляться тому, что ты отступаешь от тобой же выработанных правил, – сказала она невозмутимо. – Ты желаешь спокойной, бесстрастной и однообразно текущей домашней жизни, а несколько минут тому назад употреблял все усилия, чтобы раздражить гофмаршала.

Она ни разу не назвала старика дядей.

– Тут маленькое недоразумение, милая Юлиана, – произнес он со смехом. – Правила не так суровы, пока я здесь, пока я распоряжаюсь. Не стану же я сам себя морить скукой! Я только не хочу, чтобы ссорились во время моего отсутствия, – продолжал он. – Боже милосердный, какое множество отчаянных писем сыплется тогда со всех сторон на несчастного отсутствующего! Валерия немало грешила в этом отношении... В самом дальнем уголке моего письменного стола и теперь еще лежат эти послания... любви. Я заботливо и с нежностью перевязал их тогда розовой ленточкой, но моя рука никогда не касалась их, поскольку я опасался вызвать гнездящихся там духов лицемерия, властолюбия и ребяческих капризов... И все-таки я был на

втором плане; у нее был отличный духовник, придворный священник, и ему-то первому она открывала свое сердце.

Злая улыбка, подобно молнии, мелькнула на его красивом лице.

– Ба, чего же ты хочешь! – сказал он вдруг, после некоторого молчания, став у растворенной стеклянной двери и глядя на игравших мальчиков. – Я горжусь моим отношением к дяде почти так же, как гордится ребенок своим геройским поступком, когда принесет матери лакомый кусочек, не откусив от него по дороге. Видела ли ты меня когда-нибудь взбешенным? А ведь многие могут наговорить тебе такого о моей необузданной вспыльчивости, что ты ужаснешься. Здесь я владею собою преимущественно из желания хоть короткое время удивляться своему терпению, что некоторые счастливицы делают всю жизнь.

Молодая женщина посмотрела на него, и взгляды их встретились. В них не было и искры того огня, который, подобно молнии, вспыхивает в глазах двух людей, свидетельствуя о том, что они понимают друг друга. Она подумала: «Никто на свете не будет властвовать над душой этого взлелеянного судьбою и избалованного вниманием женщин человека, кроме его собственных буйных желаний и воли». А он, пожав плечами, взял свою шляпу, думая про себя: «В этих серо-голубых глазах можно счесть число стежков, которые она сделала пунцовым шелком во время моей речи».

– Я ухажу, – сказал он. – Берегись, Юлиана: смеркается, а храбрая прислуга замка клянется всем для нее священным, что тень дяди Гизберта появляется в этом окне: будучи на смертном одре, он велел перенести себя сюда. Но что я говорю! С такими безгрешными душами, как твоя, ничего плохого не может случиться.

– Духи относятся к нам в зависимости от того, любим мы их или боимся, – заметила она, не обращая внимания на насмешку в его голосе. – Я не боюсь тени дяди Гизберта, но желала бы спросить его: почему он хотел умереть именно здесь?

– Это и я могу тебе сказать. Ему хотелось бросить последний взгляд на свою «Кашмирскую долину», – ответил он, заметно оживившись.

Он подошел к Лиане очень близко и указал на сад:

– Там, под обелиском, велел он похоронить себя... Впрочем, тебе не видать отсюда монумента – он там, в стороне.

Он вдруг взял Лиану за голову обеими руками и повернул ее в нужном направлении. Его пальцы тонули в красновато-золотистой массе ее густых волос. Молодая женщина вздрогнула, с силой стряхнула его руки и устремила на него взгляд, горевший неподдельным негодованием. Он совершенно растерялся, густая краска разлилась по его лицу.

– Прости! Я и тебя и себя перепугал... Я не знал, что твои волосы при малейшем к ним прикосновении испускают такие искры, – сказал он нетвердым голосом, отходя от нее.

Юлиана села и опять склонилась над работой. Теперь она была спокойна и сосредоточена на себе, как и прежде, а Майнау был далек теперь от мысли, что эта женщина считает стежки своей вышивки. Он пристально смотрел на узкий пробор, блестящий на середине ее затылка, между распущенными косами; прежде он был как перламутр, теперь же принял темно-розовый оттенок. Он не взял брошенную им шляпу, досадуя на проявившуюся уже не в первый раз и вовсе неожиданную реакцию «этой рыжеволосой женщины», а еще более досадуя на себя из-за поражения, да еще от нелюбимой жены. Самое лучшее было предать случившееся полному забвению.

– Я на самом деле желал бы, чтобы дядя Гизберт мог вернуться и посмотреть туда, – сказал он и подошел к злополучному окну. Теперь он говорил очень спокойно. – Ровно тридцать лет лежит он там под красным мрамором; между тем его любимые индийские растения разрослись под северным небом так, как он, вероятно, не ожидал. Они часто бывают причиной споров в Шенверте. С наступлением сурового времени года все эти чудеса южной флоры следует укрывать под гигантскими стеклянными сооружениями, животные тоже требуют особого

ухода, а это стоит больших денег. Дядя ежегодно делает попытки стереть с лица земли дорогую затею, а я решительно не позволяю повредить даже один лист.

– А что до человеческой жизни, которую немецкий дворянин завез под северное небо? – спросила она, и ее мелодичный голос прозвучал резко.

Он снова быстро подошел к ней.

– Ты намекаешь на женщину в индийском домике? – спросил он. – Вот, полюбуйся на мальчика! – Тут он указал на Габриеля, на спине которого сидел Лео; худенькая фигурка «лошади» то и дело дергалась под ударами хлыста. – Это типичный представитель индийской расы, привезенный из-за моря как неоценимое сокровище: трусливый, по-собачьи преданный и поддающийся на малейшие соблазны... Этот мальчик противен мне. Я скорее простил бы ему пару синяков на спине моего сына, нежели это скотское раболепие человека, созданного по образу Божию... Лео, хватит уже! – крикнул он громко в отворенную дверь и сердито нахмурил брови.

Габриель только что взошел на верхнюю ступеньку. Он очень утомился и вспотел под беспокойным седоком, которого с трудом нес на себе по лестнице; но, несмотря на это, его лицо оставалось по-прежнему бледным, хотя прекрасные линии его овала не изменились, как у здорового ребенка.

– Ступай домой! – грубо приказал ему Майнау и повернулся к нему спиной.

По-детски наивная и вместе с тем меланхолическая улыбка, оживлявшая лицо Габриеля, когда он всходил по ступеням, мгновенно исчезла, а лицо от испуга стало еще бледнее. Сердце Лианы сжалось, когда он с нежной заботой спустил на пол сына сурового человека и не удержался, чтобы не погладить робко и ласково курчавую головку Лео... Бедный «козел отпущения»! Его юная душа отдана была во власть строгой церкви и ревностно-религиозной аристократии, а могущественный человек, который мог бы защитить мальчика, ослепленный предубеждением, презирал его и унижал.

– Покойной ночи, милое дитя! – крикнула она мальчику, когда тот неслышным шагом спускался по лестнице.

Затем она сложила свою работу и встала. Сознавая свое полнейшее бессилие, она ни слова не сказала в защиту несчастного ребенка, но, стоя теперь перед мужем, олицетворяла протест против жестокости владельца замка.

Майнау молча смотрел на нее сбоку, снова закуривая свою сигару.

– Видишь ли ты это дивное дерево? – спросил он холодно, указывая на одну из банановых пальм в индийском саду. – Оно гордо возносится к холодному небу, между тем как чужеземное человеческое отродье унижается до скотского служения. В таких случаях я не знаю жалости.

Молодая женщина стояла спиной к нему и убирала рукоделие в рабочую корзинку и даже не подняла глаз при его словах.

– Не будешь ли так добра хотя бы взглянуть на меня? – сказал он строго.

В первый раз он оставил тон доброго товарища и заговорил как глава и повелитель, поскольку был оскорблен.

– Недостает еще, чтобы жена демонстрировала мне свое нравственное превосходство и выказывала презрение из-за этого незаконнорожденного!

Юлиана испугалась, как бывало дома, когда слышала повелительный голос матери. Она робко повернулась к нему и в эту минуту ее побледневшее лицо стало особенно миловидным, девственно-чистым. На Майнау смотрели большие испуганные глаза.

Горевший гневом и досадой взгляд его тотчас же смягчился.

– Боже мой, как ты бледна, Юлиана! Ты смотришь на меня так, как Красная Шапочка на злого Волка... Неужели ты сомневаешься теперь в моем дружеском отношении к тебе?... А? Мне было бы жаль, – сказал он с сожалением, пожимая плечами, как будто опасаясь за тщательно сохраняемую скуку в Шенвертском замке. – Я хочу открыть тебе некоторые обсто-

яательства, – прибавил он, порывисто прохаживаясь по залу. – Когда дядя Гизберт после продолжительного отсутствия вернулся в свое отечество, мне было лет четырнадцать, и я обожал своего «индийского дядю», хотя никогда его не видел. Знали, что он посредством торговли в тысячу раз увеличил свою часть наследства. Рассказы о его жизни могли бы занять не последнее место в сказках «Тысячи и одной ночи», но когда он, еще будучи в Бенаресе, распорядился купить Шенверт и устроить здесь все по своему вкусу, то граждане нашей благословенной столицы буквально разинули рты... Я никогда не забуду его, этого красавца со своеобразными манерами и гениальной головой, в которой гнездилась самая мрачная меланхолия. «Кашмирская долина» была его идолом, а за проволоочной оградой поселилось существо, которое по его приказанию было перенесено на носилках из дорожной кареты в индийский домик. Те, кому выпало счастье нести «бледный лотос с берегов Ганга», клялись потом, что это не женщина, а воздушная нимфа.

И теперь эта чужестранка, полуженщина-полуребенок, лежавшая в домике на кровати, производила то же впечатление и казалась воздушным существом, которое только металлические мониста и браслеты удерживали на земле.

– Кроме дяди гофмаршала и придворного священника, бывшего тогда простым капелланом, мало кто посещал Шенверт: высокомерие хозяина удерживало визитеров, – продолжал Майнау. – Мне самому только раз выпала милость провести здесь три дня, и тут случилось со мной то же, что с любопытными женами в «Синей Бороде». – Майнау весело засмеялся и стряхнул пепел с сигары. – До кровопролития, конечно, не дошло, но дядя запретил мне приезжать сюда... Индианка за проволоочной оградой положительно вскружила мне голову. Перекрестись, Юлиана! Как вспомню о всех безумствах, которые творил ради женской красоты!.. Я кидался в воду, чтобы поймать унесенный ветром бантик, пил шампанское из бальных башмачков, так отчего же мне было не перелезть через ограду Шенверта, чтобы видеть женщину, которую, как говорили, дядя Гизберт любил до безумия? Дверь не была заперта, а «бледный лотос» не была пленницей; но я убежден, что она не хотела быть предметом внимания безбородого племянника своего владыки и повелителя, и потому прогулки по «Кашмирской долине» мне были запрещены... Итак, с замиранием сердца и не поднимая глаз, я полз между кустами и вдруг очутился прямо перед дядей. Он не сказал мне ни слова, но сострадательно-насмешливый взгляд его до того пристыдил меня, что я, забыв о своем юношеском самолюбии, торопливо обратился в бегство... В то же утро без моего ведома была подана к замковому подъезду моя дорожная карета; дядя любезно простился со смертельно уязвленным юношей, его посадили в карету и отправили обратно в университет – это было как холодная ванна.

Майнау, улыбаясь, подошел к окну и посмотрел на индийский сад. Сумерки сгущались, низкая тростниковая кровля индийского домика была едва видна за штамбовыми розами, и только на золотых куполах индийского храма отражались еще последние отблески угасавшей вечерней зари.

– Я снова увидел дядю, – продолжал он после минутного молчания, став вполоборота к Лиане, – когда приводилось в исполнение его последнее желание и доктор готовился бальзамировать его труп. Меня вызвали из университета в Шенверт на погребение... Обезображенный лежал он на атласных одеялах. Аромат кашмирских роз сменился неприятным запахом ладана, через задрапированные черной материей окна не проникало пение соловьев. Вместо него читались нараспев молитвы, и духовное лицо прославляло дядю за то, что он вовремя оставил свои заблуждения и стал на путь спасения... Неутешительный факт для этих догматов, – прервал он вдруг себя сердито, – что душа тогда лишь принимает их, когда болезни тела изнурят ее и когда все струны нервной системы расстроены, а то и порваны, и бедный мозг, отуманенный приближением смерти, не в состоянии работать! Да, вот таков был печальный конец этой необыкновенной, сказочной жизни, полной идеалов!

Молодая женщина все еще стояла перед своей рабочей корзинкой; она, сама не сознавая, что делает, несколько раз укладывала и вынимала из нее разноцветные клубки ниток, поглядывая на красивые линии полукруглого окна, у которого умер дядя Гизберт, созерцая свое индийское творение, и с этим впечатлением «заблуждения» отлетела его душа, несмотря на целые облака ладана, наполнявшего комнату... В полумраке сумерек оконная рама отражалась на паркете гигантским черным крестом, и неясно выделялась фигура говорившего Майнау, голос которого звучал то насмешливо, то гневно.

– Я знал, что в индийском домике родился ребенок, – помолчав, продолжал он. – Я видел его на руках у Лен, тогда это маленькое существо с меланхолическим лицом глубоко трогало меня... Завещания не было, но в силу моих понятий о нравственности я был убежден, что мальчик – первый наследник. Я высказал свое мнение, и тогда мне показали записку. Дядя Гизберт умер от ужасной болезни горла; за несколько месяцев до смерти он уже не мог произнести ни слова и изъяснял свои мысли письменно. Таких записок осталось много. Вот здесь, – он указал на высокий письменный стол в стиле рококо, – в ящиках этого так называемого стола редкостей гофмаршала собраны они все до единой. В одной из таких записок он в категорической форме отказывался от женщины в индийском домике и настоятельно требовал, чтобы мальчик был воспитан в духе служения Церкви. Я был взбешен, да и теперь еще не могу примириться с мыслью, что даже такой человек, как он, мог тяжело страдать от змеиного лукавства женщины... Дядя и я были законными наследниками. Мы вступили во владение Шенвертом. Таким образом я сделался хозяином и индийского сада; чудный образ дяди со спокойно скрещенными руками и огненным мечом насмешливой улыбки не преграждал мне более дороги в индийский домик под тростниковой крышей, где лежал обожаемый «цветок лотоса», будто сраженный мстительной рукой.

– И ты наконец смог видеть ее? – невольно вырвалось у Лианы.

Он жестом выразил отвращение.

– Напрасно ты так думаешь. Нет! Я исцелился навсегда! Неверной женщины я не коснусь и пальцем. А потом, – он содрогнулся, – я не могу видеть подобных больных – при этом возмущается каждая клеточка моего организма... Эта женщина не в своем уме, разбита параличом и по временам кричит так, что в ушах звенит; она уже тринадцать лет умирает. Я никогда не видел ее и, насколько могу, обхожу стороной индийский домик.

Лиана закрыла рабочую корзинку и позвала Лео, игравшего в камешки на площадке, усыпанной гравием. Во время рассказа Майнау Лиана чувствовала, что готова была взглянуть на него, подойти ближе и проявить теплое отношение к его рассказу; но вот опять вдруг проглянул его возмутительный эгоизм, и на нее повеяло холодом. Этот человек, гордый сознанием собственной силы, старался устранить со своего пути все, что могло помешать ему вполне наслаждаться жизнью.

– Скажи папе покойной ночи, Лео! – попросила она мальчика, который, стремительно бросившись к ней, повис на ее руке.

Майнау поднял его и поцеловал.

– Теперь ты не будешь более спрашивать о женщине в индийском домике, Юлиана?

– Нет.

– Надеюсь также, что я не услышу больше прозвучавшего как вызов мне нежного «покойной ночи, милое дитя». Ты понимаешь, что я должен так поступить.

– Я медленно соображаю, и мне нужно время, чтобы прийти к какому-либо выводу, – прервала она его и, слегка поклонившись, вышла вместе с Лео из зала.

– Педагог! – досадливо буркнул Майнау сквозь зубы и повернулся к ней спиной...

«Ну что ж, тем лучше!» – подумал он, усмехнувшись, и велел подать лошадь.

Он поехал в столицу, чтобы там провести остаток вечера и ночь.

Час спустя он говорил в благородном собрании другу Рюдигеру:

– Я оказался в громадном выигрыше: моя жена не поет, не рисует и не играет на рояле. Слава Богу, не будет мне надоедать дилетантской навязчивостью! Она бывает иногда красивее, чем я сначала предполагал, но она неразговорчива и не имеет ни малейшей склонности к кокетству: она никогда не будет опасна... При этом не так ограничена, как я думал, и не так сентиментальна, но соображает она очень медленно и усвоенный в институте взгляд на вещи сохранит на всю жизнь с упрямством людей, не одаренных фантазией, – тем лучше для меня! Какими будут ее письма ко мне, я знаю заранее: педантичные упражнения в слоге серьезной институтки с хозяйственными отчетами – они не станут причиной моих бессонных ночей... Лео очень привязался к ней и учится хорошо, а дяде она, кажется, внушает уважение своим спокойствием, врожденной холодностью и трахенбергской гордостью, которую она очень кстати умеет выказывать. Через две недели я уезжаю.

Глава 11

Герцогиня известила гофмаршала о своем визите с обоими сыновьями; это никого не удивило, так как при жизни ее супруга двор чуть ли не целые дни проводил в Шенверте, потому что гофмаршал был в большом почете и осыпал милостями, «как неизменный преданный приверженец» герцогского дома.

Даже в год траура, когда герцогиня совершенно отказалась от всех светских удовольствий, она часто во время своих прогулок верхом через «Кашмирскую долину» пила послеобеденный кофе в Шенвертском замке. Конечно же, ее лицо под траурным убором постоянно сохраняло печальное выражение, так что даже старый гофмаршал при всей своей опытности и проницательности мало-помалу пришел к убеждению, что вдова и в самом деле очень любила своего супруга. До женитьбы Майнау и после нее герцогиня не приезжала в замок и, прислав раз поклон гофмаршалу, объяснила это тем, что не хочет беспокоить своего старого друга, более, чем прежде, страдающего от подагры.

Но вот однажды Рюдигер привез радостную весть, что завтра, как это бывало ежегодно, приедут маленькие принцы, которые желают собственноручно рвать и лакомиться ранними фруктами в саду Шенвертского замка... Когда приехал Рюдигер, обитатели замка сидели за десертом. Гофмаршал резво встал, будто помолодел; он поставил в угол свой костыль, стиснул зубы и, бросив искоса взгляд на свое отражение в зеркале, попробовал пройти без поддержки до ближайшего окна. Оттуда он знаком подозвал Лиану и стал отдавать ей распоряжения насчет кухни и погреба.

– Вот тебе раз! – воскликнул Майнау и сказал молодой женщине, выходя вслед за ней из комнаты: – Я охотно исполнил бы твое желание и представил бы тебя ко двору по возвращении из путешествия, но герцогине угодно, чтобы ты завтра была представлена ей.

Говоря это, он пожал плечами с каким-то странным ощущением сдерживаемой радости, удовлетворенного самолюбия и злобной насмешки.

– Теперь нельзя этого избежать! – добавил он.

– Я знаю, – проговорила Юлиана совершенно спокойно и, вынув из кармана записную книжку, стала вносить в нее распоряжения гофмаршала.

– Прекрасно! Поистине поразительны спокойствие и невозмутимость, не оставляющие тебя ни при каких обстоятельствах! Только одно желал бы я заметить тебе... Ты позволишь, Юлиана? Герцогиня имеет привычку насмешливо улыбаться при виде слишком скромного туалета... Твоя склонность...

– Надеюсь, ты считаешь меня настолько тактичной, чтобы я понимала, где могу руководствоваться своим вкусом и где должна соответствовать своему положению, – прервала она его ласково и в то же время серьезно и вложила карандаш в записную книжку.

Между тем она дошла до двери, ведущей из коридора в комнаты Майнау. Тут стояли новые дорожные сундуки из юфтевой кожи, принесенные во время обеда. При виде их глаза Майнау вспыхнули от удовольствия, точно он уже мысленно видел себя далеко-далеко от Шенверта, мчавшимся через горы и долины. Он приподнял один из сундуков и осмотрел обивку.

Лиана спустилась в кухню, чтобы переговорить с Лен и поваром.

Гофмаршал без возражений передал ей управление домом, и это принесло ей много неприятностей – ей постоянно приходилось бороться со скаредностью старика, трясущегося над каждым пфеннигом. Его крайняя недоверчивость, страх быть обманутым и обокраденным ежеминутно отражались на окружающих. Помимо этого, в нем до сих пор вызывал злобу ненавистный второй брак Майнау. Но молодая женщина всегда была настороже. Она знала, что он следит за каждым ее шагом – даже письма из дому проходили через его руки, прежде чем попадали к ней. Письма сестры и брата, вероятно, казались ему менее подозрительными, потому

что реже других имели на себе следы его контроля. Когда же было получено письмо от графини Трахенберг – первое после свадьбы Лианы, – она сразу увидела, что печать сломана, и это возмутило ее вдвойне после того, как она прочла письмо. Графиня Трахенберг горько жаловалась ей на свою жизнь, на лишения, которым она подвергалась: доктора настоятельно советуют ей отправиться на воды, а Ульрика, как дракон, стережет их деньги и не дает ей ни гроша; поэтому она обращается к своей «любимой дочери» и просит выделить ей хотя бы небольшую часть тех денег, что Майнау дает ей «на булавки». Что гофмаршал действительно читал это письмо, подтверждал его злобный пристальный взгляд, которым он в тот день встретил Лиану при ее появлении в столовой... Об этой постоянной борьбе ничего не знал Майнау – в его присутствии старик с ловкостью придворного владел и лицом своим, и языком, а жаловаться на него мужу, который больше всего желал спокойствия и тишины в доме, Лиане и в голову не приходило.

В третьем часу пополудни Лиана вошла в зал, стеклянная дверь которого выходила на крыльцо; с этого крыльца гофмаршал хотел приветствовать герцогиню у экипажа. Он был уже в зале и разговаривал с придворным священником, сидевшим возле него. Когда вошла Лиана, в комнате, казалось, стало светлее. На ней было светло-голубое платье с придворным шлейфом и бархатным лифом более темного цвета. Блестящий голубой цвет и золотисто-красноватые волны волос этой прекрасной женщины производили необыкновенный эффект. Широкие, подбитые шелком рукава имели высокий разрез и открывали постороннему взгляду ее античные руки, на лифе был четырехугольный вырез, а сквозь кружевную шемизетку была видна ее белоснежная шея. Даже затканное серебром подвенечное платье не подчеркивало так, как сегодняшний наряд этой «рыжеволосой Трахенберг», ослепительную белизну ее кожи.

– Еще слишком рано-с! – заявил гофмаршал. – Герцогиня будет не раньше четырех часов. – Он с негодованием смотрел на огромный букет в руках молодой женщины. – Боже мой, сколько погублено цветов! Вы, верно, ощипали всю оранжерею, моя милая! Разве не дурость разводить все эти глоксинии и... как их там... все эти дорого обходящиеся нам южноамериканские редкости? Стоят они баснословных денег и нужны лишь для того, чтобы вянуть в руках профанов. От хозяйки дома не требуется, чтобы она являлась одетая как на бал.

Лиана слушала его молча. Она могла бы напомнить ему, что его дочь, капризная, общипывала и растаптывала своими маленькими ножками самые дорогие букеты, но ограничилась кратким пояснением:

– Майнау желал, чтобы я подала герцогине эти цветы при встрече.

– Ах, вот оно что! В таком случае прошу прощения! – Он посмотрел на часы. – Времени у нас еще много, и я хочу воспользоваться этим, чтобы сообщить вам нечто очень для меня прискорбное, но, к сожалению, с этим ничего не поделаешь... Вы сегодня отправили посылку графине Ульрике в Рюдисдорф. Я требую, чтобы все посылки укладывались при мне в жестяной ящик, который ежедневно отсылается в город... Я не знаю, чьим неловким рукам поручен был этот маленький ящичек, но только я получил его сломанным.

При этих словах он вынул из-под своего кресла ящичек, часть крышки которого была сорвана.

Лиана вспыхнула, но сразу же побледнела так, что даже в сжатых губах не осталось ни кровинки – вся кровь отхлынула к сердцу. Она задыхалась... Взгляд ее невольно упал на придворного священника; тот сделал движение, его выразительные глаза горели зловещим огнем и тревожною заботой. Один этот взгляд возвратил ей хладнокровие. Она положила букет на ближайший стол и подошла ближе.

– Я должен заявить вам, что некоторые обстоятельства приводят меня в замешательство, – продолжал гофмаршал с притворным смущением; он откашлялся, провел пальцами по верхней губе, будто желая разгладить усы, которых у него не было. При этом он устремил на молодую женщину свои маленькие выразительные глазки, горевшие коварством, и стал похож на хищника кошачьей породы. – Конечно, мы здесь все свои, и ваш промах, я пола-

гаю, останется между нами. – Он медленно достал из бокового кармана своего фрака маленький футляр. – Вот эта вещица выпала из ящика, когда я, досадуя на неловкость наших людей, слишком торопливо взял его у них из рук. – Своим тонким указательным пальцем с немного искривленным белым ногтем он нажал на пружинку, подбитая атласом крышечка отскочила, открыв лежащий на темном бархате великолепный аметист, осыпанный бриллиантами, которые образовывали вокруг нечто вроде розетки, и эта вещь могла служить как брошкой, так и фермуаром¹⁴. – Простите, если я ошибаюсь, – сказал он чуть ли не кротко, подавая ей украшение, – но я готов присягнуть, что видал эту прелестную розетку на шее моей дочери, – не из фамильных ли она драгоценностей Рауля?

– Нет, – возразила Лиана совершенно спокойно и, вынув розетку из футляра, сдвинула на ее задней стороне пластинку. – Вам, вероятно, известен герб герцога фон Тургау, господин гофмаршал? Тогда потрудитесь убедиться, что он вырезан внутри розетки. Я получила ее в наследство по отцовской линии. И вы, конечно, сознаете, что для внучки герцогини фон Тургау подобная ошибка, или, как вы это назвали, промах, совершенно невозможен.

– Ради Бога, дорогая моя! – воскликнул старик теперь уже с непритворным смущением. – Неужели я так неловко выразился, что вы совершенно не поняли меня? Это немыслимо! Нельзя же высказать того, что и в ум не приходило. Впрочем, немудрено было допустить в этом случае ошибку – в нашем семействе есть точь-в-точь такой же фермуар.

– Я знаю. В моей гардеробной стоит сундучок с фамильными драгоценностями Рауля, там же и он хранится; вскоре по приезде сюда я все их проверила по описи.

– Говоря иными словами, вы тотчас же сочли их своей собственностью, хотя за это я и не думаю осуждать вас. Завладев таким богатством, вы имели полное право отправить остатки прежнего величия вашего дома сестре вашей Ульрике: вам они больше не нужны, а ей будут очень кстати.

Он говорил это язвительно, и злобная усмешка искажала его лицо. Лиана делала нечеловеческие усилия, чтобы сдержать слезы, подступившие к глазам, – заметь их старик, она пропала бы. Подняв с пола ящик, она поставила его на письменный стол с редкостями, у которого сидел гофмаршал.

– Вы ошибаетесь, господин гофмаршал, – сказала она, глядя ему прямо в глаза, – я буду чтить память вашей дочери и никогда не стану носить драгоценности, которыми она когда-то украшала себя. Я только проверила их по списку, так как теперь отвечаю за них... Вы также ошибаетесь, если думаете, что я посылаю свой фермуар обратно в Рюдисдорф для того, чтобы Ульрика могла щеголять «остатками прежнего величия». Как смеялась бы при этой мысли моя Ульрика!..

Лиана, поддев лежавшим на столе ножом для разрезания бумаги остаток крышки, вынула из ящика стопку бумаги с высушенными растениями и отложила ее в сторону, а потом достала какой-то плоский предмет, завернутый в голландскую бумагу, по-видимому картину. После этого она перевернула ящик вверх дном и постучала по дну пальцем.

– Кроме наследства моей бабушки в ящике нет ничего ценного, – проговорила она сурово и гордо посмотрела на старика, впалые щеки которого покрылись легким румянцем стыда: наказание было вполне заслужено им.

– Боже милостивый, к чему это доказательство? – воскликнул он. – Не должен ли я извиниться, когда у меня и в мыслях не было оскорбить вас! Мог ли я сомневаться в вашей порядочности? Я всегда верю вам на слово, верю во всем, даже если бы вы сейчас сказали мне, что отправляете домой фермуар, чтобы его повесили на шею маменькиной собачке.

Его голос звучал слишком дерзко, а злобная насмешка, искривившая его губы, заставила вспыхнуть молодую женщину. Она уже намеревалась повернуться к гофмаршалу спиной и

¹⁴ Фермуар – здесь: застёжка на ожерелье. (Примеч. ред.)

выйти из комнаты, но тут увидела, что придворный священник, до сих пор хранивший молчание, вдруг сделал резкое движение и так посмотрел на гофмаршала, точно хотел пронзить его своим огненным взором... Не собирался ли он защитить ее, полагая, что она переживает одну из тех «тягостных минут», когда он желал прийти ей на помощь? Нет, никогда не протянет она даже кончик пальца этому священнику, который, пользуясь своей властью, накладывал железные оковы на все человеческие души, какие ему только попадались.

– Такие глупости мне и в голову не приходят, – сказала она, быстро овладев собою, чтобы не позволить священнику вмешаться в их разговор. – Я дочь Трахенбергов, а они всегда слишком серьезно относились к жизни, чтобы поступать так по-детски наивно... К чему мне скрывать это? Весь свет знает, что мы обеднели; я посылаю розетку матери, чтобы дать ей возможность съездить на воды.

– Э, что вы такое говорите? – Гофмаршал засмеялся. – Или я должен осуждать вас за то, что вы чрезмерно скупы? Вы ведь получаете до трех тысяч талеров «на булавки»!

– Я думаю, исключительно от меня зависит, как распорядиться этими деньгами, – прервала она его.

– Конечно, я не имею права спрашивать, обращаете ли вы их в банковые билеты или обшиваете ими ваши кисейные платья... Впрочем, можете ли вы иметь понятие о стоимости драгоценных камней? – Тут он презрительно ткнул пальцем в лежавший на столе футляр. – Вещь эта не стоит и восьмидесяти талеров... О боги! Восемьдесят талеров для поездки на воды графине Трахенберг!

– Эта вещь уже была оценена, – возразила она, стараясь держать себя в руках. – Я знаю, что вырученных за нее денег недостаточно. Потому я...

Лиана, не договорив, умолкла, и яркая краска разлилась по ее нежному лицу. Она увлеклась и сказала больше, чем позволяло благоразумие.

– Ну-с? – Гофмаршал, нагнувшись вперед и злобно улыбаясь, устремил на нее взгляд.

– Я прибавила еще вещь, которую Ульрика продаст не менее как за сорок талеров, – закончила она с глубоким вздохом и уже не таким твердым голосом, как прежде.

– Да откуда же у вас такие необыкновенные ресурсы?... Уж не этот ли предмет? – указал он на сверток, завернутый в голландскую бумагу, на который она нечаянно положила руку. – Если не ошибаюсь, это картина?

– Да.

– И это ваше собственное произведение?

– Да, я сама рисовала ее.

Она прижала руки к груди, точно ей не доставало воздуха. В ту же секунду перед ее мысленным взором возник Рюдисдорфский замок и мать, швырнувшая сочинение Магнуса на каменные ступени террасы.

– И эту картину вы хотите продать?

– Я уже говорила вам об этом.

Она не поднимала глаз, зная, что встретит торжествующий взгляд, – так медленно и со значением был поставлен ей этот вопрос. Это была возмутительная игра кошки с мышью.

– У вас, верно, есть какой-нибудь богатый друг, меценат, посещающий Рюдисдорф и считающий своей обязанностью щедро оплачивать подобные произведения искусства?

Наконец она справилась с ужасным волнением; она стала совершенно спокойной, и это помогло ей быстро принять решение.

– Я, разумеется, не пользовалась такого рода благодеяниями, какие оказывают нищим, и предпочитала продавать свои работы купцам, – сказала она ровным голосом.

Гофмаршал подскочил как ужаленный.

– Это значит, другими словами, что вы до своего замужества трудами своих рук зарабатывали на хлеб?

– Отчасти да. Я знаю, что этим признанием предаю себя всецело в ваши руки; знаю также и то, что делаю свое положение в доме еще нестерпимее, но это для меня предпочтительнее тяжелого бремени вечной тайны, которая губит душу. Я не хочу и не могу продолжать здесь то, что принуждена была делать в Рюдисдорфе, чтобы не раздражать мать.

– Признаться, великолепный выбор сделал Рауль взамен моей знатной и гордой Валерии! – воскликнул с горькой усмешкой гофмаршал, откинувшись на спинку кресла.

Придворный священник вскочил и хотел было взять ее руку, но она отступила в глубину комнаты, протянув вперед обе руки, как бы отстраняясь от него.

– Вы наговариваете на себя, баронесса! – воскликнул он чуть ли не с мольбой. – Я думаю, что теперь, пребывая в сильном волнении, вы описываете некоторые обстоятельства своей жизни совсем иначе, чем сделали бы это в спокойном состоянии духа.

– Нет, ваше преподобие, я с вами не согласна. Это было бы против правды. Повторяю, и очень ясно: мои руки трудились, зарабатывая деньги, я работала за плату! Теперь, когда я вижу, какое впечатление произвело на вас мое признание, я дышу свободнее. – Горькая улыбка мелькнула на ее устах. – Я знаю, что от зоркого взгляда господина гофмаршала ничто не укроется, рано или поздно он узнал бы всю правду, и тогда меня вправе были бы упрекнуть за мое молчание, и, пожалуй, возникло бы подозрение, что я стыжусь своего прошлого, от чего да сохранит меня Бог!.. Неужели вам было бы приятнее узнать, что я до замужества жила милостыней? – обратилась она к гофмаршалу. – Вы презираете меня за то, что я трудилась, потому что не имела никаких доходов в своем распоряжении? Как же после этого другие сословия будут питать уважение к дворянскому роду, когда его представитель полагает, что герб его непременно должен лежать на золотом поле? Не сам ли он своею пляскою вокруг золотого тельца опровергает идею о том, что дворянство имеет преимущества перед прочими сословиями благодаря личным заслугам и качествам? Слава Богу, теперь есть люди нашего сословия, воспитанные на более благородных понятиях, и эти люди не стыдятся быть причастными к искусству.

– Искусство! – засмеялся гофмаршал. – Вы называете искусством пачкотню, которой обучает учитель в институте благородных девиц по одному и тому же шаблону...

Говоря это, он схватил пакет и вынул из него рисунок; последнее слово вылетело у него с каким-то шипением. От испуга или стыда вся кровь бросилась в его бледное лицо.

Как бы внезапно ослабев, он несколько раз откидывался на спинку кресла, а когда изумленный священник приблизился к нему, он протянул над рисунком руку, как бы желая скрыть его.

Глубокое переживание, испытанное молодой женщиной в индийском домике, было перенесено на бумагу, хотя несколько в идеализированном виде. Здесь «цветок лотоса» покоился не на кровати, этом ложе мучений, к которому паралич приковывал женщину уже тринадцать лет, а на мягкой зеленой траве, и искусная кисть сумела возратить ей роскошные формы молодости. Это была баядерка из Бенареса – такая, какой привез ее из-за моря немецкий барон. Она полулежала, опираясь на руку головой. Золотые монеты блестели у нее на лбу и волосах и спускались вдоль длинных черных кос, падавших на грудь, по пунцовой шелковой кофточке, отделанной золотой тесьмой, которая покрывала лишь плечи и незначительную часть рук. Зубчатые листья растения бросали приятную полутень на лежавшую фигуру, а на заднем плане солнечные лучи падали на мраморные ступени индийского храма и играли в слегка колеблющихся водах пруда... Рисунок был сделан акварелью и не вполне окончен, так как фигура была набросана эскизно, но в каждом штрихе сказывалась уверенная рука талантливого художника. Головка с темными глазами на дивно прекрасном продолговатом лице, положение обнаженных, с браслетами на щиколотках, ножек, тонувших в мягкой траве, где каждая былинка, казалось, колыхалась под ветерком, линия необыкновенно грациозной талии под полупрозрачным

покрывалом баядерки – все это было изображено с большою смелостью и силой, что делало картину воистину художественным произведением, в чем так сильно сомневался гофмаршал.

Впрочем, он довольно скоро оправился.

– Вот как! Даже эта молодая особа, внешне равнодушная и холодная, обладает приличной дозой женского любопытства, которое заставляет ее рыться у себя дома в фамильных архивах, а здесь, в индийском саду, отыскивать «пикантности» нашего рода! – проговорил он с язвительной усмешкой. – Вы обладаете мастерской способностью переноситься в прошлые времена – это можно заключить по вашему дотошному изучению старины. И, я надеюсь, вы согласитесь со мной, что именно по этой-то причине ваша картинка никогда не должна покидать пределы Шенвертского замка. Мы были бы дураками, если бы снова предали гласности сей позорный факт, да еще посредством женщины, которая под предлогом дочерней любви и самоотверженности желала бы прославиться как художница! Милая моя, эта картинка останется у меня – я отошлю графине Трахенберг на ее морские купания столько денег, сколько она пожелает.

– Благодарю вас, господин гофмаршал, но я отказываюсь от имени моей матери! – воскликнула Юлиана, в первый раз не сумев скрыть свою горячность. – Моя мать настолько горда, что предпочтет остаться дома.

Гофмаршал громко засмеялся. Он привстал и вынул из одного из ящиков стола с редкостями маленькую розовую записочку, которую подал молодой женщине.

– Прочтите эти строки и удостоверьтесь, что женщина, которая просит у своего прежнего поклонника взаймы четыре тысячи талеров для уплаты тайных карточных долгов, не настолько щепетильна, чтобы оттолкнуть дружескую руку, предлагающую ей помощь для осуществления страстно желаемого путешествия на воды... Она приняла тогда четыре тысячи талеров с горячей благодарностью, а возратить их ей, видимо, помешали обстоятельства.

Машинально, с помутившимся взглядом, взяла Лиана компрометирующую записку и отошла к окну. Она не могла и не хотела читать этого послания, написанного знакомым некрасивым почерком матери, одно обращение которого – «*Mon cher ami*» – было для нее как острый нож в сердце. Ей хотелось хотя бы на минуту скрыться от взглядов обоих мужчин, и она вошла в оконную нишу, но тотчас же с испугом выскочила оттуда. Окно было отворено, а на крыльце, спиной к стене дома, неподвижно стоял Майнау. Он не мог не слышать всего, что говорилось в зале, но в таком случае выходило, что он оставил ее одну бороться с коварным противником, а это был бесчестный поступок. Она не питала иллюзий относительно его любви, но он не должен был отказывать ей в покровительстве: это делает и брат для сестры.

– Э, записку-то вы мне отдайте! – вскричал гофмаршал, боясь, что Лиана может спрятать ее в карман, так как она невольно опустила туда руку. – Против вас и вашей неподатливости необходимо иметь в руках оружие, и я только сегодня раскусил вас: вам присущи все черты вашего рода, в вас больше ума и энергии, чем вы желаете показать... Пожалуйста, прошу вас, возвратите мне мою прелестную маленькую розовую записочку!

Она отдала ему ее; старик торопливо схватил записку и поспешно опять запер в ящик.

В эту минуту на пороге стеклянной двери показался Майнау, но на этот раз не с той изящной небрежностью, а то и с обидно скучным и притворно-вежливым выражением лица, с каким обыкновенно являлся в общую комнату, – теперь он выглядел взбодораженным, точно возвратился после долгой прогулки верхом.

Гофмаршал вздрогнул и откинулся на спинку кресла, когда в комнате так неожиданно появился племянник.

– Боже мой, Рауль, как ты испугал меня! – воскликнул он.

– Чем же? Разве есть что-нибудь необыкновенное в том, что я вошел сюда, чтобы, подобно тебе, встретить герцогиню? – спросил равнодушно Майнау.

Он отвернулся от больного старика и с тревогой взглянул в ту сторону, где находилась его молодая жена.

Она стояла, опершись левой рукой на угол письменного стола; по легкому кружевному рукаву видно было, как сильно дрожит ее рука. Ужасное известие, сообщенное гофмаршалом о матери, поразило ее до глубины души; она чувствовала, что это потрясение оставит след на всю жизнь. Несмотря на это, она все-таки старалась сохранить наружное спокойствие, и ее серо-голубые глаза, смотревшие из-под нахмуренных бровей, встретили взгляд мужа. Она приготовилась к новой борьбе.

Прежде всего Майнау подошел к большому столу, стоявшему в центре комнаты, взял графин и налил в стакан немного воды.

– Ты слишком взволнована, Юлиана; прошу тебя, выпей! – проговорил он, подавая ей стакан.

Она с удивлением и не без возмущения отказалась: он предлагал ей выпить воды, чтобы она успокоилась, между тем как давно бы мог устранить причину ее волнения несколькими резкими словами, сказанными ее непримиримому врагу.

– Не пугайся этого лихорадочного румянца, Рауль, – сказал гофмаршал Майнау, ставившему в это время стакан обратно на стол. – Это лихорадка дебютантки, то есть дебютантки в Шенверте, так как в художественном мире и в лавках продавцов эта прекрасная особа уже давно имела успех как графиня Трахенберг. Что скажешь ты, заклятый враг Рафаэлей женского пола, «синих чулков» и им подобных? На, полюбуйся, какой талант под прикрытием брачного контракта приютился в Шенверте! Жаль только, что обстоятельства заставляют меня конфисковать эту картину!

Майнау уже взял картину и рассматривал ее. Лиана, стоявшая с сильно бьющимся сердцем, увидела, как вспыхнуло его лицо. Она ожидала насмешки, язвительных замечаний по поводу этой «пачкотни»; но он, не отрывая глаз от картины, холодно сказал через плечо дяде:

– Ты, конечно, знаешь, что право конфисковать принадлежит в этом случае исключительно мне... Как попала сюда эта картина?

– Да, как она сюда попала? – повторил, пожимая плечами, смущенный гофмаршал. – По неловкости наших людей ящик, предназначенный к отправке, был передан мне сломанным.

– О, я найду виновного, и он не останется без наказания, – сказал Майнау и положил картину на стол. – А это что? – спросил он, взяв в руки стопку бумаги с сухими растениями, поверх которой лежала тонкая, исписанная убористым почерком тетрадка. – И это было в злополучном ящике?

– Да, – твердо, почти сурово ответила за гофмаршала Лиана. – Это – высушенные дикие растения, как видишь, некоторые представители родов семейства орхидных, очень редко встречающиеся в окрестностях Рюдисдорфа... Магнус продает гербарии в Россию, и я помогала ему составлять их... Неужели и этим невинным занятием я нарушила правила, действующие в доме баронов Майнау? Я сожалею об этом втором промахе. – Она протянула к мужу, просматривающему тетрадку, антично прекрасные руки; при этом на губах ее играла гордая усмешка. – Ты должен убедиться, что на моих пальцах нет ни одного чернильного пятна, и ведь я никогда не упоминала о моих ничтожных ботанических познаниях... Только благодаря неловкости твоих людей стою я тут как обвиняемая, вынужденная молчать. – Грациозным движением прижала она руки к вискам, как бы желая унять сильную боль. – Мне очень жаль, что, не желая того, стала причиной этой сцены и нарушила выработанные тобой правила. Но позволь мне высказаться сегодня в первый и последний раз. Не по моей вине произошла эта сцена, и даю тебе слово, что подобное больше не повторится. Одно еще остается мне сказать: я должна опровергнуть выдвинутое мне господином гофмаршалом обвинение, будто я посредством своих незначительных творений захотела войти в мир искусства для того, чтобы прославиться... Когда первая моя картина была представлена публике, меня несколько недель трясла лихорадка, и не от страха провалиться – меня смущала моя отвага, деньги же, вырученные за нее, стоили

мне горьких слез, потому что я продала часть своей души, часть чувств – и все-таки должна была продолжать это делать!

Придворный священник во время этой тяжелой сцены, напоминавшей скорее суд инквизиции, удалился в глубину зала и ходил там взад и вперед. Руки его были сцеплены за спиной, но его широкая грудь высоко вздымалась, дыхание было затруднено, точно он боролся с припадком удушья. Один взгляд, брошенный на этого человека в длинном черном одеянии и с тонзурой на голове, позволил бы обоим мужчинам понять, что он жестоко борется с собой, чтобы, подобно разъяренному тигру, не броситься на них... При последних словах молодой женщины он подошел к стеклянной двери и, защитив глаза рукой, стал пристально смотреть вдаль, где за парком виднелась узенькая полоска шоссе.

– Слух не обманул меня, – сказал он, поворачиваясь, – герцогиня сейчас будет здесь.

– И прекрасно, а то мы тут чуть было не разнежнивались! – сказал гофмаршал. – Идемте же встречать ее!

И он встал и выпрямился во весь рост. Кряхтя, гофмаршал подошел к зеркалу, поправил галстук, надушил платок, обрызгал духами с тонким ароматом фрак и жилет, взял в руки шляпу и, прихрамывая, поплелся к выходу.

Молодая женщина спокойно положила бумаги обратно в ящик и попыталась приладить крышку.

– Ну-с, ваше преподобие, – обратился Майнау к священнику, который словно окаменел у двери и, очевидно, выжидал, чтобы Майнау вышел прежде него. – Разве вы не знаете, что герцогиня обидится, если при выходе из экипажа не услышит обычного приветствия из ваших уст?

Взгляды их встретились: насмешливо-удивленный – Майнау и открытый, глубоко негодующий – священника. Оба они метали искры.

– Я уступаю вам дорогу, – проговорил Майнау, указывая рукой на дверь, но не из почтительности к духовному лицу, а с вежливою настойчивостью повелевающего хозяина; при этом он не мог скрыть саркастической улыбки. – А обо мне не беспокойтесь, я вовремя сойду вниз.

Священник вышел с легким поклоном. Майнау следил за ним, пока тот спускался по ступенькам, потом, когда его фигура скрылась с глаз, он вдруг обернулся и, сверкая своими демоническими глазами, быстро подошел к молодой женщине, протянув ей обе руки.

– К чему это? – спросила она, продолжая неподвижно стоять на месте. – Уж не желаешь ли ты показать мне твое великодушное прощение? Но мне этого не нужно, потому что я ни в чем не провинилась. Я хорошо знаю, что эти мои занятия не мешают мне исполнять обязанности ни матери Лео, ни хозяйки дома и *dame d'honneur*¹⁵. Растения собирала я во время прогулок с Лео, при этом вкратце давала ему начала ботаники. Делала наброски и писала я ранним утром, когда никто не требовал моей заботы... Если же ты желаешь, чтобы я отказалась от этих занятий, ставших для меня отдыхом, то я повинуюсь. Но только подумай, что муж, признающий за собою право, утомившись неприятностями и скукой домашнего очага, оставить его для продолжительного путешествия, не должен бы был отказывать жене, по крайней мере во время своего отсутствия, в нескольких часах отдыха, чтобы она могла хотя бы на время забыть о хлопотах и обязанностях... Как я уже сказала, я подчинюсь тебе и в этом, но не как слепо и послушно уступающая жена, а как мать Лео. Материнские обязанности я буду исполнять до конца; если бы не это, я не пошла бы теперь встречать герцогиню, а вернулась бы в Рюдисдорф.

Приподняв шлейф, она взяла букет и хотела с покойным достоинством пройти мимо Майнау, но он заступил ей дорогу. Очувтившись так близко к нему, она оробела. Женщина всегда ощущает страх при виде внезапной смертельной бледности на лице мужчины, полного энергии и жизненной силы.

¹⁵ Придворной дамы (*фр.*).

– Еще минуту! – подняв руку, сказал он спокойно, но с горечью. – Ты ошибаешься, думая, что я намеревался показать, что прощаю тебя. Зачем бы мне тогда подходить к тебе? Я не обладаю такой холодной рассудительностью, как ты, чтобы контролировать и анализировать то, что происходит в моей душе, – я увлекаюсь и откровенно высказываю то, что чувствую, и, может быть, подходя к тебе, я чувствовал в ту минуту скорее потребность просить у тебя прощения, чем желание унижить тебя. Или ты не можешь понять по выражению лица, что я чувствую, чего я не допускаю, зная о твоём необыкновенном артистическом даровании, или гордая, глубоко оскорбленная графиня Трахенберг не хочет понять меня? Я останавливаюсь на последнем и сообразуюсь с твоим желанием, отвергающим искренний порыв... Как бы то ни было, мы должны явиться перед лицом света счастливой четой, – продолжал он своим обычным небрежным тоном, – а потому, будь так добра, возьми меня под руку, когда мы будем сходить по лестнице.

Глава 12

Подъехали два экипажа; в первом из них, остановившемся у крыльца, восседали высокие гости; во втором, остановившемся на почтительном расстоянии, сидели воспитатель принцев и фрейлина. Герцогиня, еще оставаясь в экипаже, благосклонно протянула гофмаршалу руку, выказывая свое удовольствие, что видит его поправившимся. Она еще не окончила своего приветствия, как Майнау показался на крыльце под руку со своей молодой женой. Черные глаза герцогини метнули огненный взгляд вверх, на крыльцо, и слова замерли у нее на языке. Она поспешно обернулась, как бы с вопросом к своей фрейлине, которая уже стояла у подножки экипажа герцогини и тоже с изумлением смотрела на приближающуюся молодую женщину. Но тотчас же герцогиня быстро и с грациозным движением руки закончила свою речь и вышла с помощью придворного священника из экипажа.

И в самом деле, кто мог ожидать, что «серая монахиня», робко сидевшая в углу кареты, с таким величием разыграет роль хозяйки Шенвертского замка, как сделала это она теперь, спускаясь с лестницы под руку с мужем? Кто бы мог подумать, что эта женщина, не смущаясь всеми осмеянным цветом своих волос, продемонстрирует все богатство их, распустив свои роскошные косы, и что шенвертское солнце, играя в этих золотистых волнах, превратит их в блестящий ореол вокруг лица молодой женщины? Женщины молча стояли друг против друга. Говорили, что герцогиня, сняв траурные одеяния, предпочитала светлые и яркие цвета, пытаясь вернуть молодость, и сегодня эти слухи подтвердились. Она была в розовом платье с открытым воротом и короткими рукавами; на обнаженные плечи ее была накинута кружевная косынка; круглую шляпку из брюссельской соломки украшала веточка яблоневого цвета.

Внезапно на лицо герцогини набежала тень: умные серо-голубые глаза новой баронессы встретили ее взгляд с гордым спокойствием, от ее миловидного лица веяло свежестью юности, и этого нельзя было отрицать даже на самом близком расстоянии. Бросив косой взгляд на Майнау, герцогиня опять просияла. Правы были те, которые утверждали, что Майнау женился не по любви. Он, равнодушный, стоял неподвижно около своей молодой жены, и когда она, почтительно, но не слишком низко поклонившись герцогине, подала ей букет, он представил ее довольно холодным тоном.

Букет был принят благосклонно, и, может быть, герцогиня не ограничилась бы несколькими любезными фразами, которые многие сохраняют, как реликвии, в сердце, если бы ее взгляд не упал на гофмаршала, который был бледен как мертвец; ноги его подкашивались, зубы были сжаты.

– Я слишком понадеялся на свои силы, – пробормотал он. – А теперь в отчаянии, что вынужден просить соизволения вашего высочества сопровождать вас в кресле.

По знаку герцогини оно было подано, и гофмаршал опустился в него. Не лучшие времена переживал этот человек, пользовавшийся когда-то при дворе всеобщей благосклонностью. Заскрипел гравий под колесами тяжелого кресла, и оно покатилося к парку, где все было готово к приему сегодняшних высоких гостей... Розовое платье прекрасной герцогини прощумело мимо него; она шла, оживленно болтая, под руку с Майнау и, как никогда, была неприужденно весела. А между тем тот, кто когда-то думал, что его блестящее красноречие не оставляет равнодушным этот гордый и замкнутый ум, молча сидел в своем кресле – он был забыт. Принцы вместе с Лео пронеслись мимо гофмаршала, а прежде они цеплялись за фалды его фрака и никакие игры не устраивались без него. Теперь всем было ясно, что он стар и хвор и вдруг сделался статистом в своем собственном владении. Его угнетало сознание того, что он, когда-то ловкий придворный, был заживо причислен к мертвым!.. А тут еще эта «рыжеволосая» не шла, а выступала, сознавая себя госпожой Шенверта. Да, он должен был с горечью

признаться себе, что эта обедневшая графиня держалась величественнее, благороднее даже самой герцогини. Старик просто задыхался от злобы и досады.

– С вашего позволения, замечу, баронесса, – крикнул он резким тоном молодой женщине, которая мимоходом сорвала скрывавшуюся в траве полевую гвоздичку, – сегодня нельзя собирать ни орхидей, ни прочей негодной травы для России.

Майнау вспыхнул и обернулся; резкий ответ гофмаршалу готов был сорваться с его языка, но при виде того, как молодая женщина молча, с таким высокомерием и так спокойно приколотла маленький пунцовый цветок к поясу, он лишь досадливо передернул плечами и пошел вперед, продолжая начатый с герцогиней разговор.

Часть парка, где росли великолепные шенвертские фрукты, расположена была возле индийского сада, под защитой гор, что давало возможность редкостям индийской флоры расти в прохладном умеренном поясе. Северо-восточный ветер не проникал сюда, и под теплыми лучами солнца здесь высоко поднимались бананы, вызревали великолепнейшие сорта персиков, самые нежные сорта винограда и прочих фруктов, как на шпалерах, так и на деревьях, имеющих пирамидальную форму, стоящих группами на обширных, покрытых дерном площадках. Эта часть парка, более нежившая вкус, чем ласкавшая взоры, соседствовала с лесом, который здесь являл собой не вековую чащу дивных исполинов, простиравшуюся вплоть до большой проезжей дороги, а редколесье, где на порядочном расстоянии вились между деревьями светлые ленты дорожки, а под первой группой кленов находилась усыпанная мелким гравием площадка. На эту площадку был обращен фасад так называемого охотничьего домика. Это было красивое маленькое строение из кирпича, с большими окнами и оленьими рогами на крыше, и могло в каком-то смысле считаться станцией между Шенвертским замком и домом лесничего, находившимся в получасе ходьбы от замка и одиноко стоявшим в лесу. В этом домике жил ловчий с охотничьими собаками; он отвечал за шкаф с богатым оружием Майнау и в торжественных случаях фигурировал в парадном мундире как егерь барона Майнау.

Если хотели разыграть идиллию, то для этого выбиралась площадка перед охотничьим домиком – это было одно из самых привлекательных мест Шенверта. Тут можно было дышать чистым лесным воздухом, с одной стороны виднелся пестревший яркими красками индийский храм среди чужеземной растительности, а с другой еще издали были видны зубцы мозаичных крыш замка в средневековом стиле, живописно возвышавшиеся над роскошной зеленью парка.

При таких празднествах в сельском стиле вместо замкового повара у белой кафельной плиты охотничьего домика стояла Лен и варила кофе. Так повелось издавна; ее широкоплечая фигура в неизменном черном шелковом парадном платье была такой же принадлежностью охотничьего домика, как и великолепные охотничьи собаки, лениво растянувшиеся на мягком теплом песке. Правда, ее серьезное лицо, охваченное чепцом с традиционными шотландскими лентами, никогда не улыбалось, и «кникс» ее был весьма неловок, но кофе был так вкусен и ароматен и все вокруг блестело такой удивительной чистотой, что на сухость и суровость ее характера никто не обращал внимания.

Было ли сегодня в кухне жарче обыкновенного, или хлопоты утомили ее, но только Лен казалась разгоряченной, и если бы не ее суровая натура, то по ее лихорадочно блестящим глазам и нахмуренному лбу можно было бы подумать, что она плакала.

– Вы больны, милая Лен? – благосклонно спросила ее герцогиня.

– Нет, ваше высочество! Благодарю покорно за ваше милостивое внимание – весела и здорова, как рыба в воде! – возразила она испуганно, бросив косой взгляд на гофмаршала.

Она принесла несколько белых, искусно сплетенных корзиночек, которыми тотчас же завладели маленькие принцы. Вокруг кофейного стола вдруг стало пусто – дети помчались к фруктовому саду, а садовник замка, стоя на почтительном расстоянии, молча, но с отчаянием смотрел, как маленькие вандалы без разбора и сожаления опустошали так тщательно взлелеянные им деревья, наполняя свои корзинки самыми дорогими фруктами.

Гофмаршал приказал подкатить к столу свое кресло, но, чтобы сгладить впечатление своей беспомощности, ему необходимо было встать и пройтись, хотя бы это стало для него невыносимой пыткой. И он поднялся и заковылял вдоль зеленевшего винограда на шпалере, заканчивающейся у проволоочной ограды индийского сада. Ему посчастливилось бодро добраться до кофейного стола, за которым уже сидела герцогиня. С блаженной улыбкой подал он ей в корзине несколько гроздей раннего винограда, срезанных им собственноручно. Вдруг улыбка исчезла с его лица, и он побледнел от испуга.

– Мой перстень! – воскликнул он в волнении, торопливо поставив корзину на стол.

Он стал смотреть на тонкий указательный палец правой руки, на котором несколько минут назад сверкал дорогой изумруд.

Все, исключая герцогиню, вскочили и принялись искать его. Перстень, «всегда так крепко державшийся», как уверял гофмаршал, вероятно, свалился с похудевшего пальца в то время, когда он срезал виноград, и затерялся в зелени. Как тщательно его ни искали, найти так и не смогли.

– Прислуга поищет его потом под моим надзором, – сказал Майнау, возвращаясь к столу. Ради соблюдения приличий пора было прекратить эту неприятную сцену.

– Да, потом, когда он уже безвозвратно исчезнет в чьем-нибудь кармане, – возразил с мрачной улыбкой гофмаршал. – Разве можно доверять прислуге! Она постоянно вертится около виноградной шпалеры – главная дорожка пролегает мимо нее... Ваше высочество, простите мое волнение, – обратился он к герцогине. – Но перстень этот для меня дорог как редкость, завещанная мне Гизбертом; за несколько дней до смерти он передал его мне при свидетелях и при этом написал следующие слова: «Не забывай никогда, что ты получил десятого сентября!» Он завещал его именно мне, и его внимание трогает меня до глубины души... Вашему высочеству известно, что я не ладил с братом, даже осуждал его за безнравственный образ жизни... Но, боже мой, это все же родная кровь! Я любил его, несмотря на все его заблуждения, а потому утрата этого перстня глубоко огорчила бы меня.

– Что уж говорить о поистине баснословной ценности самого камня! – сухо заметил Майнау.

Он уже сидел возле герцогини, между тем как остальное общество только еще собиралось.

– Ну конечно, и хотя не это главное, кто стал бы это отрицать? – сказал гофмаршал с притворным равнодушием.

И движением, в котором выразилось все его отчаяние, он разом откатил свое кресло в сторону, откуда можно было видеть всю дорогу вплоть до злополучных шпалер.

– Изумруд очень дорогой, а резьба редкой работы – настоящее чудо... В ней заключается тайна. Около герба виднеется маленькая точка, как будто крошечная царапина, но под лупой ясно проступает выгравированная мужская голова. Приложение этой печати имеет, по-моему, большее значение, чем самая подпись.

– Мы теперь будем пить кофе, а потом и я пойду искать его, – милостиво произнесла герцогиня. – Замечательный перстень должен быть найден.

Между тем Лен подавала всем душистый кофе на большом серебряном подносе. Ее лицо не выражало недовольства. Среди воцарившейся тишины слышно было только, как шуршит ее шелковое платье и скрипит песок под ногами. Но вдруг посуда загремела на подносе, как будто у нее от страха задрожали руки. Гофмаршал, которому она в эту минуту подавала кофе, с удивлением поднял на нее глаза и посмотрел в направлении ее взгляда: по дорожке, вдоль шпалеры, шел Габриель.

– Что надо здесь этому мальчику? – спросил гофмаршал, устремив на нее пристальный взгляд.

– Не могу знать, барон, – ответила она, уже совершенно успокоившись.

Габриель подошел прямо к гофмаршалу и, не поднимая глаз, подал ему утерянный перстень. Его держали прекрасные тонкие пальчики безукоризненно чистой и нежной ручки, однако, почувствовав ее прикосновение, гофмаршал оттолкнул эту ручку с отвращением.

– Мало вам тарелок? – гневно воскликнул он, указывая на стол. – И разве ты не мог, бывая в замке, научиться, как прилично подавать вещь? Где ты нашел перстень?

– Он лежал у проволочной ограды, я его сразу узнал, я всегда любовался им на вашей руке, – робко проговорил мальчик, как бы извиняясь за свою оплошность.

– В самом деле? Очень лестно! – Гофмаршал насмешливо покачал головой. – Лен, дайте ему кусок торта и спросите, что ему еще надо.

Лен вынула из кармана ключ.

– Ты за ним пришел, да? – спросила она Габриеля. Он ответил утвердительно. – Большая пить хочет, а я заперла малиновый сироп.

– Глупости! В замке и без него полно прислуги. Этот мальчик мог бы прислать кого-нибудь, но он избалован и хочет участвовать во всем, что происходит в замке, и даже сегодня, хотя священник совсем недавно в моем присутствии строго запретил ему принимать какое-либо участие в развлечениях! Забыли вы это, Лен? Он должен готовиться, – пояснил он герцогине. – Сегодня утром мы решили, что через три недели он наконец поступит в семинарию – уже давно пора.

Лиана с удивлением посмотрела на ключницу. Так вот почему она сегодня все утро бесцельно бродила по кладовой, с трудом отличая тончайшие ткани от грубого полотна, а ведь Лен была авторитетом по части льняных изделий! В конце концов она потеряла связку ключей, чего с ней никогда не случалось! Хотя эта женщина казалась холодной и суровой и вроде бы безучастно относилась к мальчику, по крайней мере при других, Лиана давно поняла, что Лен боготворит ребенка... Теперь она стояла молча, с густо покрасневшим лицом. Для всех прочих это была женщина глубоко огорченная, рассерженная незаслуженным упреком, в глазах же Лианы это была мать, любящее сердце которой разрывалось в ожидании предстоящей разлуки. Герцогиня посмотрела на мальчика в лорнет.

– Вы хотите сделать из него миссионера? – спросила она священника, качая головой. – На мой взгляд, это занятие совершенно для него не подойдет.

Эти слова точно наэлектризовали Лиану: в первый раз слышала она, чтобы кто-то противоречил священнику и гофмаршалу, тем более особа, которая несколькими словами могла изменить судьбу человека. Все сидевшие за столом были или не расположены к ребенку, или просто равнодушны к его судьбе. Например, Майнау холодно смотрел на «трусливого мальчика», стоявшего, подобно осужденному, неподвижно, но было заметно, что земля как бы горела под его ногами! Молодая женщина собрала все свое мужество: разве герцогиня взывала не к ее женскому сердцу?

– У Габриеля уже есть миссия, ваше высочество, это миссия художника, – сказала она, глядя на герцогиню с явным смущением, но твердо. Взгляды всех обратились на нее, не произнесшую до сих пор ни слова. – Хотя его никто не обучал, он так смело и мастерски владеет карандашом, что это меня поражает. Я нашла в комнате Лео его рисунки, которые помогли бы ему блистательно выдержать всякое испытание, он непременно был бы принят в число учеников академии... В этой детской головке таится редкое творческое дарование, пламенное влечение к искусству, присущее только гению... Ваше высочество верно заметили, что он не годится для миссионерской деятельности, – для этого нужно внутреннее стремление, и лишь на этом должны быть сосредоточены вся энергия и все силы души, для которой не должно существовать другого идеала. Совершить над ним насилие было бы жестоко в отношении искусства.

Герцогиня с изумлением смотрела на нее.

– Вы совершенно не поняли меня, баронесса фон Майнау, – сказала она сдержанно. – Мое замечание было вызвано его вялостью и болезненным телосложением; что же касается

его умственных способностей или его увлечений, то я решительно говорю: это совершенно ни при чем! Мне, право, жаль, что находятся женщины, не разделяющие мнения, что перед такой святою целью жизни всякая другая должна исчезнуть... Пусть вольнодумцы мужчины, приобретаемые научные познания, впадают в заблуждения в делах веры – довольно и этого прискорбного факта. Но мы, женщины, должны вдвойне стараться твердо противостоять этим бурям, свято хранить нашу веру и никогда не поддаваться искушению мудрствовать.

– Ваше высочество, это значит определить женщинам чересчур легкую задачу в жизни, и еще это значит шире отворять дверь суеверию, дверь в воображаемый мир духов, где властвует сатана, к чему женщины, к сожалению, и так очень склонны.

Послышался стук сдвинутого стула и смущенное покашливание, между тем как молодая женщина, только что говорившая так смело, сохраняла невозмутимое спокойствие. Напротив нее сидел ее муж, рука которого, лежавшая на столе, играла кофейной ложечкой. Наклонив голову, он исподлбья, ни на минуту не отрывая глаз, смотрел на покрасневшее лицо жены, обращенное к герцогине. Выговорив последние слова, она посмотрела в его сторону, глаза их встретились, и ее взгляд был так холоден, как будто Майнау был ей совершенно незнаком. Яркая краска залила его лицо, он швырнул на стол кофейную ложечку, что вызвало улыбку на прекрасном лице герцогини.

– А! Барон Майнау, это вас волнует? Какого вы мнения об этом? – спросила она его ласково-вкрадчивым голосом.

Его губы сложились в горькую улыбку.

– Вашему высочеству хорошо известно, что женщины, которые верят в колдунов и привидения, особенно притягательны, – произнес он свойственным ему небрежным тоном. – Женщина обворожительна в своей беспомощности и боязни, ее влечет, как ребенка, в наши покровительственные объятия, и тут возникает любовь. – Он помрачнел, а взгляд его устремился на жену. – Между тем как от мудрой Афины Паллады на нас веет ледяным холодом, и мы отворачиваемся от нее.

Неужели это была та женщина, которая в день свадьбы, бледная и расстроенная, подобно ангелу смерти, на ходу заглядывала в экипаж с невестой? Горделивое торжество сияло теперь на этом прекрасном лице, и это выражение делало ее необыкновенно привлекательной.

– А вы? – обратилась она к священнику, сидевшему напротив нее со сложенными на груди руками. При звуке ее голоса он точно пробудился от глубокой думы. Было похоже на то, что герцогиня собирала войска под свои знамена, готовясь выступить против молодой женщины, осмелившейся мыслить самостоятельно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.